(17)

6. II

1.

Новое мiро

(по поводу 80-летняго юбилея Толстого)

Je n'aime pas ces, qui cherchent en gémissant
Pascal

... Я мучительно и долго искал,
и не изъ праздной любопытства, не было
искать, но искать мучительно, упорно, дни
и ночи, — искать, какъ ищетъ погибающiй
человѣкъ спасенья....

Л. Толстой. „Исповѣдь"

The time is out of joint!....
W. Schakespeare.

Сознающий и разрушающий
мiръ.

ВК ф 83 № 1

Въ бытность свою въ Парижѣ, Толстому
случилось однажды присутствовать при
смертной казни. Онъ никогда подробно не опи-
сывалъ впечатлѣнiя, но отъ того ужас-
наго зрѣлища впечатлѣнiй только однажды
въ „Исповѣди" встрѣчается у него мелькну-
щее краткое замѣчанiе. „Когда я увидалъ,
какъ голова отдѣлилась отъ тѣла и то,
и другое врозь застучало въ ящикѣ, я понялъ —
не умомъ, а всѣмъ существомъ, — что никакiя
теорiи разумности существующаго и прог-
рессa не могутъ оправдать этого поступка
и, что, если бы всѣ люди въ мiрѣ, по какимъ
бы то ни было теорiямъ, съ сотворенiя
мiра, находили, что это нужно, я знаю,
что это не нужно, что это дурно". Толстой
былъ тогда еще молодымъ человѣкомъ —
ему было что то около тридцати лѣтъ
и вотъ тогда уже онъ находилъ возмож-
нымъ противупоставлять свое личное
сознанiе сознанiю всѣхъ существующихъ и
существовавшихъ съ сотворенiя мiра людей.
И, какъ всякого сомнѣнiя, всего мелкаго и тѣсно-

382×251

[redacted] преувеличений. Во всем мире
за все время его бесконечно существования нельзя
было бы найти такую силу, которая
заставила бы Толстого отказаться
от его убеждений и признать смертную
казнь не то хорошей, но хотя бы чем-
нибудь оправданной. Это — с одной сто-
роны. С другой — он, очевидно, и у Толстого
не было той силы, которая была бы
необходима для того, чтобы заставить
людей перестать наложить своих бли-
них. Теперь, почти через пятьдесят
лет после его путешествия
в Париж, он снова со той же страстью
восстает против смертной казни
и снова безрезультатно. „Не могу мол-
чать" с отчаянием кричит он на
всех мир. Теперь он уже не неизвестный
молодой граф, путешествующий по
Европе, теперь он самый знаменитый
из всех живущих на земле людей,
теперь его слышит весь мир. Но и
теперь, как и тогда, его громкий протест
не оказывает никакого действия.
Его слышат, но с ним не считаются
и продолжают наложить. Толстой не
уступает и не уступит, мир тоже
не уступает и не уступит, никогда
не уступит: это знают все, это зна-
ет и сам Толстой.

Этот случай необыкновенно характе-
рен для Толстого. Вся жизнь его есть
постоянная борьба. Он хочет прого-
нять и предписать убеждительность,
которую он искренно носит всей душой

ненавидитъ и въ борьбѣ съ ней развива-
етъ необыкновенную, поражающую лю-
дей силу. Люди восторгаются имъ, прек-
лоняются предъ нимъ — но дѣйствитель-
ности ни въ чемъ, рѣшительно ни въ чемъ
~~не уступаетъ~~. Она даже какъ будто
вдвойнѣ торжествуетъ: вѣдь Толстой,
колоссальный, огромный Толстой — такая
ея добыча, ея неотъемлемая часть. Онъ
принадлежитъ ей, онъ, простирающій
и проклинающій — ~~а она не уступаетъ~~
~~не уступитъ~~. И своего великаго Толстого
никому не отдастъ.

Вернувшись изъ заграницы Толстой
далеко не въ умиротвореномъ настро-
еніи духа. Ѣдучи заграницей Толстому
~~Ему~~ пришлось увидѣть еще
вторую смертную казнь — но уже не отъ
руки людей: Умеръ его старшій братъ,
добрый, умный, хорошій человѣкъ. Вдругъ,
неизвѣстно почему, забольлъ и черезъ
годъ мученій скончался. Опять ужасъ,
опять Толстой могъ бы повторить,
что, если бы всѣ существующіе и когда
либо существовавшіе отъ сотворенія міра
люди стали бы убѣждать его, что это нужно, что
это хорошо, онъ знаетъ, что это
дурно ~~что~~ безусловно
~~нехорошо~~, безусловно, что этого быть
не должно. Но онъ даже уже не говоритъ
этого и теперь, черезъ боль, онъ не об-
ращается къ природѣ, какъ обратился
къ людямъ со своимъ страстнымъ при-
зывомъ: „не могу молчать.“

Съ людьми бороться кажется возмож-
нымъ, негодовать противъ природы —

титаническую мощь

не поддается, остается только, чтобы и трепеща

плоть отъ ея плоти, кровь отъ ея крови

(~~это, как все знают~~) безумие.

~~И Толстой~~,
Все знают, чем и как ответил Толстой на эти две смерти. Они вернулся в Россию, сперва было занялся педагогической и литературно-педагогической деятельностью, но вскоре женился и исключительно отдался своей семейной жизни, начал думать и художественному творчеству. И, если бы в то время, т.е. в начале шестидесятых и семидесятых годов, кто-либо попытался сказать Толстому, что его отвлечённое отвлечённое, что они не имеют права ни на семейное счастье, ни на духовные радости, ни на художественную работу, он бы умел дать отпор навязчивым цензорам и защитить свои права против них ~~умственных пробтарей~~. „Я стою у своего порога (своего дома) с книгой и саблей и пусть попробуется кто-либо войти на мой ~~защищаю свой дом от всяких по-~~ ~~сягательств~~". И голос его звучит твердой решительностью и непреклонностью, что едва-ли бы кто нибудь без особенной важной причины вступил бы с ним в борьбу. Каждому ясно, что это была бы борьба не на жизнь, а на смерть (что Толстой был готов и умел постоять за себя.

В месяц тому, по возвращении из-за границы в жизни Толстого был период, когда он чувствовал, что он погиб, невозвратно погиб, что вся его жизнь сведена на нет. Его педагогическая деятельность, как теперь ему для всех стало очевидным, была лишь ~~в~~ попыткой стать на путь

что защищать револьвером и саблей нечего,

какой угодно трудной, сложной, поглощающей работы и заботы. Ему нужно было работать, действовать, бороться, нападать – об этом свидетельствуют с достаточной ясностью его педагогические статьи, все, что думают учителя и общественное мнение – неверно, все не так. Все нужно изменить, передумать. Даже, в последствии, после женитьбы эта вражда к признанным педагогам и общественным деятелям продолжала жить в Толстом, хотя собственно, причин ей вызвавших уже давно не было. Но инстинктивная деятельность, разумеется, не удовлетворила и не успокоила Толстого. Наоборот, она еще больше растревожилась. „Я чувствовал, признается он сам через много лет в „Исповеди", что я не совсем умственно здоров и долго это не может продолжаться... я заболел больше духовно, чем физически – бросил все и пожелал встать к барьерам – дышать воздухом, пить, кушать и жить животной жизнью".

Каким же образом от того полубезумного душевного состояния пришел Толстой к тому внутреннему спокойствию, которое, по его собственным словам в „Исповеди" дали ему первые пятнадцать лет его семейной жизни? Об этом в „Исповеди" (ничего не говорится). „Исповедь" рассказывает лишь о том, почему с Толстым произошел переворот в конце 70-х годов, каким он спасся от своих ужасов в конце пятидесятых и начале 60-х – об этом на нашем суде (внутренне ужозаключает) лишь

на три четверти состоящая из сплошной самополемики.

лись по тем следам, которые его внутренней перестройки оставили на художественных произведениях. Из "Исповеди" мы находим всего-то, правда, чрезвычайно важное и нужное для нас указание. "Я бы, говорит он уже тогда (т.е. еще до женитьбы) пришел к тому отчаянию, к которому я пришел через пятнадцать лет, если бы у меня не было еще одной стороны жизни, мне не выданной тогда и обусловившей для меня спасение, – это была семейная жизнь".

Это указание чрезвычайно ценно. Во-первых мы узнаем, что еще в молодости Толстой уже знал приступы того отчаяния, которое впоследствии, после его обращения, чуть не довели его до самоубийства. А во-вторых, что для нас еще важнее, мы можем установить факт что противоядием от этого безумного отчаяния – есть средство и не то, о котором говорит Толстой в "Исповеди" (т.е. не религия). Правда, средство временное – не на всю жизнь, но, ведь пятнадцать лет срок не малый.

II

Толстой говорит, что это средство – семейная жизнь т.е. что семейная жизнь спасла его. С одной стороны – это как будто и похоже на правду, но с другой стороны, если внимательно ознакомиться с теми произведениями, которые Толстой написал в течение первых пятнадцати лет после своей женитьбы, никоим образом

согласиться, что это спасло бы от-
ность избежать еще одну печаль-
данную сторону жизни. Весьма вероятно, что
рость, что Толстой, если бы он не же-
нился, заболевание-ба сомнительно бы в конце концов ума
даже может быть покончил с собой.
Но это не значит, что семья дала содержание
для нападать годам его жизни. Несом-
ненно, что в нем были живы инстинкт
страсти и увлечения, и были сферы не
только те силы, которые нужны человеку, чтобы быть хорошим
вполне и счастливым семьянином.
Первые нападки на его семей-
ной жизни были расцветом его твор-
ческих сил: он написал "Войну и
Мир" и "Анну Каренину". И, если он
теперь сводит всю свою жизнь этого
периода лишь к семейному счастью, то
лишь потому, что теперь она уже ему
не нужна и забота им. Толстой мень-
ше, чем кто-нибудь другой умеет
и главное хочет ценить то, что
сейчас не нужно или безполезно. Он неб-
лагодарностью, которую он тогда хо-
рошо в свое время подметил в Ка-
рениной, они боготворит свои идеи,
пока они в порядке, слепо и служат
им, но они-же ее бросает, как только
их могучие они оставляют бессильными
она оказывается для него безполезной.
Такая неблагодарность свойственна
должна быть свойственна всем ве-
ликим людям они умеют все
сожалеть разбрасывать богатство,
ибо в них есть вера, что
богатства будут, были бы только
живы они, великие люди. Тому подоб-

и изъ подъ земли вырастутъ ле-
гіоны. Кто-нибудь великаго человѣка, в тот или иной случай,
который бы, вслухъ или мысленно,
сознательно или безсознательно,
не произносилъ этой фразы. И Толстой,
въ этомъ смыслѣ, счастливый и безза-
ботный, какъ Пьеръ Безуховъ и Пол-
ли. Оттого его слова и учили столь
многихъ отпугиваютъ. Онъ все ра-
ругивается, что ли, после этого, скажи?
Но Толстому не страшно. Или, вѣр-
нѣе, страшно, очень страшно. Во,
что разсказываетъ онъ о своихъ му-
кахъ сильныхъ кризисовъ, нисколько
не преувеличено: его искренность вы-
зываетъ подозрѣнія. Но эти муки—
такъ же естественны и нужны Тол-
стому, какъ женщинѣ муки родовъ.
Сильнѣйшая, невыносимая боль — есть призна-
ки появленія на свѣтъ новой жизни.
И, какъ извѣстно, женщина должна
добровольно причинить ее себѣ.
У Толстого невыносимыя муки отча-
янія всегда предшествуютъ вели-
кимъ событіямъ. Такъ было послѣ
перваго кризиса, такъ было послѣ
втораго. ~~Ему нужно было открыть~~
~~новый міръ~~ Вспомнимъ, какъ описана
въ „Войнѣ и Мирѣ" исторія Пьера Бе-
зухаго. Съ начала Пьеръ постепенно погру-
жается въ бездну нелѣпой и безсмыслен-
ной жизни съ Курагиными и Долоховымъ, потомъ еще болѣе нелѣпая ди-
нитьба, отвратительная жизнь съ со-
вершенно чужой ему женой, совершенно
безумные и клубная жизнь, дуэль, мо-
сенство и т. д. — Пьеръ, еще молодой
человѣкъ, до такой степени запутался

что казалось для него ноль и не может быть спасенья. Но ноль спасенье пришло, пришло именно оттуда, откуда его можно было менее всего ожидать в такой момент, когда, казалось судьба занесла на него руку не затем, чтобы спасти его, а чтобы добить. Момент просветления, очищения Пьер испытал в ночь того дня, когда французы на его глазах растерзали пять человек русских пленных, когда он сам был приговорен к смерти, о которой не сообщили, и когда ~~через пути на расстрел~~ и не был казнен лишь в силу какой то непонятной для него случайности. ~~В ту ночь он встретился~~ Вот в нашем словаре описывает Толстой душевное состояние Пьера, в ту минуту, когда Пьер увидал это страшное убийство, (как русские, совершенное людьми, не хотевшими это делать, в душе его было как будто бы вдруг выдернута та пружина, на которой все держалось и представлялось живым и все завалилось в кузу бессмысленного сора. В нем, хотя он и не отдавал себе отчета, уничтожилось вера и в благоустройство мира и в человеческую и в свою душу, и в Бога. Это состояние было испытать вполне Пьером прежде, но никогда с такой силой, как теперь. Теперь, когда на Пьера находили такого рода сомнения, сомнения эти имели источником собственную вину. И в самой глубине души Пьер тогда чувствовал, что от того

III, 55

отчаяний и тяжкий сомнений душевное
сеніе въ самомъ себѣ. Но теперь онъ
чувствовалъ, что не его вина была при-
чиной того, что міръ завалился въ
глазахъ и остались одни бессмысле-
ные развалины. Онъ чувствовалъ, что
возвратится вѣра въ жизнь — не
въ ея власти." Я, конечно, могу сейчас
только небольшую сравнительно са-
писку изъ "Войны и Мира", которая относится къ эпохѣ
Вѣра этого нашествія Наполеона
на Москву. Собираюсь тутъ, кото-
рой хотѣлъ ближе подойти и узнать
смыслъ переживаній Толстого, особен-
но внимательно перечесть всѣ тѣ
мѣста Они многому научатъ и
многое объяснятъ — разумѣется
въ этомъ условномъ и аграрическомъ
смыслѣ, въ какомъ слова научатъ
и объяснятъ примѣнимы, когда рѣчь
идетъ о послѣднихъ вопросахъ чело-
вѣческой жизни. Какъ извѣстно, Тол-
стой впослѣдствіи отрекся и отъ
"Войны и Мира" и отъ "Анны Каре-
ниной". Въ своей "исповѣди" онъ
открыто заявилъ, что его художествен-
ныя работы были сплошной ложью
и не смотря на то, что я считалъ
писательство пустяками въ продолже-
ніе этихъ 15 лѣтъ (послѣ женитьбы) я 30
все таки продолжалъ писать. И вдругъ
уже совсѣмъ писательство, совсѣмъ
Отрекся отъ художества вотъ что

и рукоплесканий за мой ничтожный
труд и предавался ему, как средству
к улучшению своего материального поло-
жения и заглушению в душе всяких
вопросов о смысле жизни моей и общей".
Перед нами два автобиографических
утверждения Толстого — разделенных
приблизительно промежутком времени
почти в 15–17. Оба звучат с необык-
новенной искренностью и правдивостью,
хотя по содержанию они друг друга
взаимно исключают. Не может быть,
чтобы человек, который думал только
о славе и денгах, тайно раскаивался
устами Пьера в своей душевной борьбе.
Не может быть, чтобы автор „Ис-
поведи" так внезапно и, повидимо-
му, без всякой нужды на автора
„Войны и Мира", в конце концов
на самого себя. Это станет еще
ясно, если мы проследим дальней-
шую историю Пьера, вернее, его душев-
ной метаморфозы. Но поскольку нас
достаточно русским читателям произ-
вело на него подавляющее, уничто-
жающее впечатление. Никто больше
никакой надежды, все погибло, все
пропало: ни в себе, ни вне себя нель-
зя искать спасения. И вот, в ночь тог-
же дня, когда Пьер с такой безпощад-
ной очевидностью убедился в том,
что Бога нет, что всемирная, вся
жизнь безумная и отвратительная

Толстой в „Исповеди" [illegible] в 18[illegible], что он [illegible] разочаровался в церкви.

[illegible] „Исповеди" далее

въ своей почти что дьявольской тяготности, вещь, въ ту-же ночь, когда онъ потерялъ всякую вору и всякую надежду произошло нечто такое, чего менѣе всего можно было ожидать. Опять будемъ говорить словами Толстого послѣ разговора съ Платономъ Каратаевымъ, котораго внезапно встрѣтилъ Пьеръ въ вечеръ послѣ растрѣла русскихъ плѣнныхъ, Пьеръ, какъ и остальные товарищи его по балаганному уголку спалъ. „Наружи слышались где то вдалекѣ плачъ и крики, и сквозь щели балаганы виднѣлся огонь; но въ балаганѣ было тихо и тепло. Пьеръ долго не спалъ и съ открытыми глазами лежалъ въ темнотѣ на своемъ мѣстѣ, прислушиваясь къ мѣрному храпенію Платона, лежавшему подлѣ него и чувствовалъ, что прежде разрушенный міръ теперь въ новой красотѣ, на какихъ то новыхъ и незыблемыхъ основахъ, движался въ сознаніи.

VII, 61.

Отчаяніе Пьера и его вера и внимательно вглядимся

Если мы сопоставимъ то, что произошло съ Пьеромъ въ теченіи одного дня, даже въ теченіи нѣсколькихъ часовъ одного и того-же дня, мы будемъ поражены: отъ крайняго отчаянія и совершенно невѣрія въ Бога, въ міръ, и вообще отъ ненависти къ твердой, прочной и прекрасной вѣры въ міръ и творца.

Какъ это случилось? Какъ возможно такое великое чудо? Не вдумавшись ли это Толстой? Для того, чтобы, хотя онъ разсказываетъ въ исповѣди

Вѣдь это чудо, самое настоящее, ничѣмъ не объяснимое чудо, въ родѣ воскресенія Лазаря

получить много денег и рукописаний?
Но, тогда придется сказать, что, если
это вполумано Толстым, то вовсе у нас
нет никакого оснований быть уверен-
ным в том, что его писаний после
"Исповеди" также нет вздумка и
обман ради какой нибудь пока еще
не открытой нам цели. Может
быть, после его смерти, нам-либо
доставит нам материал, из которого мы убедимся, что не только вчер-
вое напечатают после его
жизни, но и последние придут
к тому Толстой писал не то, что
он в самом деле думал и в чем
он был убежден, а то, что, после
соображения мог ему дать если
не деньги и славу, в которой, может
быть он теперь и не нуждается, то
какое либо благо — скажем хотя бы
власть над людьми, которая в из-
вестном возрасте человеку более
мила, чем деньги, известность и даже
слава?!

III

Не будет однако, торопиться с разъяс-
нением замеченных нами противоре-
чий. Да и вообще мне кажется толстов-
ские противоречия, как и противоречия
всякой большой и мятежной души, по
самому существу своему не подлежат
окончательному разъяснению. Если вы
хотите последовательности, внутренней
цельности, изучайте жизнь среднего про-
тестантского пастора, или Жизнь добродушного
земского врача. У Толстого же и
думал, по своей душевной организации, более

или мелкое ~~на всю~~ положение нужно
искать скорой путаницы и беспоряд-
ка. Противоречий в них жизни нуж-
но отмечать – но отнюдь не растить,
чтобы претворить их в одном
высшем синтезе. Печатью ~~Несмотря~~ беспокойности
и произвола отмечены вся жизнь и
все творчество Толстого, как в боль-
шом, так и в малом. Сейчас ил-
люстрируем ~~это~~ наше положение небольши-
ми, но в высокой степени любопыт-
ными примерами – ~~из войны и мира~~.
~~Сходящегося~~. В первой части „В. и М."
Толстому, между прочим приходится
описать встречу полкома Кутузова,
в пятой – ~~в~~ знакомство императора
ца. Если бы ему пришлось теперь это
сделать, вероятно, у нас получились
~~два классических~~ сцены. Но, Тогда однако
Толстой ~~его~~ любил много, и тому впос-
ледствии стоил равнодушным – не-
любил меньше всего сообразуясь с тем,
что вообще любят и ценят люди. И
что он любил – было хорошо, важно
и значительно, что не любил – пошло
и смешно. И свои суждения он умел
высказывать со такой неподражаемой
убедительностью и искренностью, что они
невольно заражали.

11 Идет! Закричали ~~часовые~~ в это время
Полковой командир, поравнялся, под-
бодрился на лошади, дрожащими руками
взялся за ~~стремя~~ поводья, перекинул тело,
оправился, вынул шпагу и счастли-
вым, решительным лицом, на бок
разорвав рот, приготовился крикнуть
Полк встрепенулся, как оправляющаяся
птица, и замер.

и ими больше всего дорожить.

во второй части, – как и ~~они~~ произведения
создателя

бы собственно другие картины.

—Смир-р-р-но! закричал полковой командир потрясающим душу голосом, радостным для себя, строгим в отношении к полку и привлекательным в отношении к подчиненному начальству."

Теперь описание опера — привожу не все, что было бы очень длинно и для нашей цели излишне.

"Мужчина в обтянутых ляжках пропел один, потом кончила она. Потом оба замолчали, заиграла музыка, и мужчина стал перебирать пальцами руку девушки в бальном платье, очевидно ожидая опять такта, чтобы опять начать свою партию вместе с нею. Они пропели вдвоем, и весь театр стал хлопать и кричать, а мужчина и женщина на сцене, которые изображали влюбленных, стали, улыбаясь и разводя руками, кланяться."

Восторг толпы близка сердцу Толстого. Он голос командира полка потрясает душу. В нем можно различить три совершенно различных оттенка: он и радостен, он и строг, он и привлекателен. Вся же опера — одна дорогая чушь, какая вообще не должна существовать. И в этом описании встречи полка с оперой сказался весь Толстой. Он всегда что-то ищет, за что-то борется. И то, что помогает ему всегда

описаний тех самых наказаний

Второй пример: ... Князь Андрей наказал на фронте взвода гренадер, перед которым лежал обнаженный человек. Двое солдат держали его, а двое взмахивали гибкие прутья и мерно ударяли по обнаженной спине. Наказываемый пронзительно кричал. Толстой майор ходил перед фронтом и, не переставая что-то говорить, оборачивался при каждом крике, говорил:

— Солдату позорно красть, солдат должен быть честен, благороден и храбр; а как у своего брата украл, так и тебе честь не будет, тебя зарезать — еще, еще!

И все слышались гибкие удары и отчаянный, но притворный крик....

см. I, 254.

В голосе не такая власть, как у Толстого почти ничего не различает. Его бывшие занимают взмах гибкими прутьями. Крик солдата — пронзительно, притворно.

в его жизненной роли

исканий и борьбы, то он, не справляясь ни у кого разрешения, объявляет хорошим все-то, что ему нравится, так же произвольно или, если вам нравится больше, автоматично приписывает дурному, он сам, по поводу первого вами (неестественному, притворному) взгляда, дает вам драгоценное указание, чем руководствуется человек в своей оценке действительности — конечно, такой человек, который не повторяет вслед за другими принятых мнений, а старается и умеет в словах выражать свою действительную сущность. ... В то время, как Пьер созрел появился таинственной силы; ничто не казалось ему страшно или страшно: ни труп, вымазанный для забавы сажей, ни эта женщина, спешившая куда-то, ни пожарища Москвы. Все, что видел теперь Пьер, не производило на него почти никакого впечатления — как будто душа его, готовясь к трудной борьбе, отказывалась принимать впечатления, которые могли ослабить ее." Вот основной двигатель Толстого - и в больших и в малых делах. Он принимает то, что ему сейчас нужно для его теперешнего дела и отвергает все, что ему мешает. Пока судит он он военной командой и обо всем, о разгадке, так судит он об искусстве, так судит обо всем, о чем ему приходится судить. И это самодержавие ли получило его отчасти: отчасти немецкому воспитанию. Вообще такой оптимист, как Бетховен, черпал свои силы в этом противоречии с людьми источник...

Ирония странно!

Он ищет какую-то таинственную силу, которая дает ему фарисейское право на нападательство.

Прежде, чем

~~Прежде~~ дальше за переживаниями

Вера, мы должны обратить внимание

на одно необыкновенно важное обстоя-

тельство, которое может быть (открыт) нам доступ в эти тайники души

Толстого, которые ему самому зак-

рыты.

IV

ВК стр 98 пл. III

Лет пять тому назад вышла книга

знаменитого американского психолога

Джемса под названием „Многообразие

религиозного опыта." Книга во многих

отношениях необыкновенно интересна и

даже прямо, можно сказать, замечатель-

на. Джемс, по своим умственным приви-

чкам и по своему воспитанию прежде

всего – если (дано) угодно, (дано) после всего ученый,

т.е. человек привычный к необходимой

осмотрительности. Прежде, чем отрывать,

он, по русской поговорке, семь раз отмо-

рит. И это, конечно, в нем драгоцен-

нейшая черта, которая становится еще

более драгоценной, в виду его готовно-

сти оказаться если не от всех, то

от многих (особенно) предрассудочно, свойствен-

ной той среде, в которой он воспи-

тался и (работает) с молодых лет.

Уже во вступлении к своей книге, он

ставит столь непривычный, почти не-

естественный для ученого вопрос: кто

дает нам право утверждать, что опыт

и переживания гениальных людей должны

составлять единственный материал

для (познания) и источник истинных суждений.

Непосредственный человек живет, чувству-

ет и думает – он всякой же стати наш

отбрасывать, (как) (всякое) все содержа-

ние его внутренней жизни? Вестимо, (не пригодный для познания материал всесодержащий)

А что если такие роды чувства и мысли могут привести нас к таким ~~не~~ знаниям, даже откровениям, о которых нормальные люди и мечтать не могут? Но, ~~строго~~ справедливо, этот вопрос поставлен не мечтателем потому, даже не философом-художником, в роде Ницше или Шопенгауэра. Это один из видных ~~бойких~~ представителей современной „положительной" мысли. Его учебник психологии переведен на многие европейские языки и служит настольной книгой очень всех профессоров философии.

Теперь напомню, что уже почти полвека тому назад, этот вопрос в такой же, пожалуй даже более резкой и удачной форме был поставлен у нас в России. Только ученым, пользующимся большой славой и авторитетом, а маломальским тогда писателям, Достоевским в „Преступлении и наказании". Свидригайлов, разговаривающий с Раскольниковым, в заключение, ~~соглашается~~ признает с тем, что галлюцинации больных только убедили, ненормальных людей, подтвердят допущение, что это обстоятельство ничего, собственно, против реальности галлюцинаций не говорит. Может быть, условием возможности подобных известного рода реальностей, является болезнь: здоровому недоступно то, что доступно больному. Тогда-же

одним очень известной духовной и хорошо научно образованной критикой, приведя это соображение Свидригайлова и, сопоставив ряд других мыслей разных героев Достоевского по своему строю напоминающих очень только что изложенную мысль Свидригайлова, замечательно: счастливый народ безнравственен. Когда нашему брату, ученому человеку, приходит в голову какая нибудь дикая мысль — мы можем из нее сделать никакого употребления, кроме разве даже признания, что она побывала у тебя в голове. А безнравственный дело иное: ему всякая дичь годится. Вложит ее „в дело" и действующего лица и правь: никто не может ничего возразить.[1])

Итак вот дикая мысль Достоевского случай положения в основание обширного исследования покойного собственного ученого. Ненормальность, как и нормальность человека ничего не говорит противу его внутреннего опыта. Значительность и незначительность переживаний в предпочтении по своему имеет привлекать. И, далее более того, особенно важное, интересное и глубокое переживание, как показали наблюдения, свойственно именно ненормальному, больному. Сюда между прочим и относится область религиозного опыта. С последним утверждением должна согласиться положительная наука, как бы ни противилась религия этому. Религия действительно имеет дело с областью патологии и подвергается изучению лишь для того, чтобы для

---

[1]) Я приведу буквальные слова Свидригайлова: „Я согласен, что привидения видят только больные; но ведь это только доказывает, что привидения могут являться только больным, а не то, что их нет сами по себе... Привидения — это, так сказать, клочки и отрывки других миров, их начало. Здоровому человеку, разумеется, их нечего видеть, потому что здоровый человек есть наиболее земной человек и, стало быть, должен жить одной здешней жизнью, для полноты и для порядка. Ну, а чуть заболеешь, чуть нарушился нормальный земной порядок в организме, тотчас и начинаешь сказываться возможность иного мира, и чем больше болен, тем и соприкосновение с другим миром больше"... Свидригайлов еще и заключил своеобразное делает: „так что, покидает он свой разумение, когда умрет совсем человек, то прямо и перейдет в другой мир". Этого такого заключения не делает.

Изучаются
чего проявлял весь проявлений болезненной
тела и духа т.е. для того, чтобы найти
средства борьбы с ними. Джемс ~~и~~, как
и Достоевский, только более совершенно
смело и открыто (время, видно, наступи-
ло другое) ищет у больных людей новых истин и опыта, для новых
методов добывания истин. Джемс
часть себя достаточно больным
человеком и потому считает что это
своим недостатком, который ограничи-
вает его познавательные способности —
тем что (ему) приходится прямо поступать
в науку не нормальным людям,
в тех случаях когда, в силу сказан-
ный с ~~срав~~ недостаточной болезненностью,
ограниченностью личного опыта, (пола-
гаться на опыт более одаренных
в этом смысле больных людей.

Больше всего Джемса интересует —
как оно и вполне понятно — то, что
религиозные люди называют откро-
вением. Посвоему личному опыту Джемс
совсем не может судить об откро-
вении, ибо ничего подобного не испытал.
Но изучая обращенность вообще
и в особенности обращенность т.е.
перерождение от неверия к вере людей
можно много узнать такого, чего
сам не видел и не слышал. И Джемс
добросовестно изучил, на сколько вы-
можно, показания религиозных людей
сличал их между собою и пришел
к заключению, что откровение — это
факт, в котором нельзя не считаться
и что люди испытавшие откровение, зна-
ют и много такого, чего люди обыкновен-
ные не знают.

Между прочим, между показаниями

Многих других более или менее
известных религиозных мыслителей и
никому неизвестных обращается
частных лиц, Джемс не раз сетует
и на нашего Толстого. Только,
повидимому, из всех сочинений этого
последнего у Джемса знает одну лишь
„Исповедь". Во всяком случае, несомнен-
но, что художественное творчество Тол-
стого ему почти не знакомо — или
им совсем не умел воспользоваться
для своих изследований. Это, мо-
жет быть, объясняется и тем обсто-
ятельством, что Джемс, подбирая все
случаи ярко выраженной религиозности,
и, хотя часто бывает в таких случаях,
много раз придавал слишком много
значения внешнему, словесному, если угодно
даже официальному положению человека, его интересу
Если данное лицо афиширует себя ве-
рующим — и, имеющее всеми признано за такого
Джемс допрашивает его
внимательно слушает, называет его
себя безбожником — Джемс спокойно и пренебрежительно
проходит мимо него, в уверенности,
что от него он ничего услышать. Так
он минует Ницше, Гейне, Шопенгауэра, Ренана
и многих других, которые могли бы его
научить очень многому. Я думаю, что
отчасти причина в том, что, как
Джемс сам признается, ему лично чужд
„мистический" опыт и он объясняет
лишь добросовестным, но объективным
беспартийным наблюдателем. При
таких условиях не просмотреть мно-
гого и существенного нельзя.
Но, быть, однако, занимают здесь не
недостатки и пробелы в построении
Джемса, а его положительная
сторона. Важно, чрезвычайно важно уже

и то, что
(Бесоровско)

Высказанная когда-то Достоевским
мысль теперь уже не только не боится осуж-
дений ученого критики, по имеющей за
собой научной авторитет. Допуска-
ется известная подпалина, которой
прежде встречались в лучших случаях
добродушной насмешкой. Можно гово-
рить ~~не~~ либо с самых больших и
серьезно говорить об откровений. Но,
особенно нас здесь занимает то,
что непосредственно относится к обра-
зцей или превращений Толстого.
Мы оставили Льва (т.е. Толстого)
именно в том моменте, когда
с ним произошло чудо внезапного
просветления. И произошло оно,
как мы помним, тогда, когда
этого менее всего можно было ожи-
дать, после того как под влиянием
пережитой им (нечеловеческой) трагедии
(Фета) он потерял
всякую веру и всякую надежду, когда
он уже не боролся, не мог думать
о борьбе, когда у него, как говорится
опустились руки и он пассивно,
бессмысленно шел на встречу сво-
ей гибели, словом в том моменте, когда уже не было конечно....
И, вот, оказывается, что случай со Льв-
ром чуть-ли не является весьма
редко типическим. Мало того, выяс-
няется, что такого рода переживаний,
как прекрасно показывает Энгельс
были источником того религиозного
учения, которое в 19 веке потрясло
всю Европу. Умная, сильной руки Дос-
тоевский, принять преувеличенно
по отношению к Лютеру и его учению

У нас думают, что протестантство
это протест здравого смысла и
аккуратной добродетели против всего,
что было мистического, прекрасного
и таинственного в католичестве. Если чуть-по, и
которой спасительна и правда в таком предположении. Современное нам протестантство в значительной степени есть обожествление средней, буржуазной морали. По отношению это насчет Лютера было бы в таком все мире несправедливо и исторически неправильно, как обвинять учение протестантства в ужасах инквизиции. Христиане т.е. называющие себя последователями Христа действительно жили на костях и пытали своих ближних, но Христос этому не учил. И Лютер, был слишком глубокой, мощной и одаренной натурой для того, чтобы измельчить религиозный осподлого и устроенного буржуа. Его главная основная догма о спасении верой и благодатью та как раз догма, которую особенно восстает и рационально исторически оспаривает Толстой, имея всею имея своей целью облегчить благополучный переход в будущую жизнь благополучным обитателям здешнего мира — как думают те, которые знают учение Лютера по обыкновенным учебникам и как раз догмат, отвергающий от человека, им созданного. И в самом деле, каким возмутительным и плоским на первый взгляд кажется догма, утверждающая, что спасение христианина всецело верою

и только вѣрою, а отнюдь не дѣлами,
не соединяющими заслугами. Въ сущности
это утвержденіе какъ бы вовлекаетъ на изнанку все ученіе,
въ которомъ столько разъ и такъ
настойчиво утверждается, что вѣра
безъ дѣлъ мертва. Ну, послушайте
самого Лютера. „Богъ, говоритъ онъ, Э. 20ч
есть Богъ смиренныхъ, несчастныхъ, угнетенныхъ, отчаявшихся, уничтоженныхъ;
сущность его въ томъ, чтобы вдохновлять смиренныхъ, питать голодныхъ,
возвращать зрѣніе слѣпымъ, утѣшать
опечаленныхъ, оправдывать грѣшниковъ,
воскрешать мертвыхъ, спасать погибшихъ и утратившихъ надежду...
Единственное препятствіе, стоящее
на его пути – это отвратительное
и гибельное мнѣніе человѣка о самомъ
себѣ: человѣкъ считаетъ себя правымъ
и не хочетъ подлинно, предъ лицомъ и
осужденнымъ грѣшникомъ. Нужно, чтобы
Богъ взялъ въ руки свой молотъ – т.е.
свой законъ – чтобы изломать, разбить,
обратить въ прахъ, уничтожить гордость
этого дикаго звѣря, именуемаго человѣкомъ... И такъ велика тупость человѣческаго сердца, что въ этой борьбѣ
своей совѣсти, когда божественный
законъ исполнитъ свое дѣло, онъ все
еще не постигаетъ смысла и значенія ученія о
благодати. Онъ все хочетъ спастись
своими дѣлами„ Въ будущемъ, говоритъ
онъ, я исправлюсь, я буду дѣлать то
то и то." Но, если тѣ не поступятся
совершенно открыто, если тѣ не бросятся
закоренѣлымъ сердцемъ, смиренно убѣ
ленными въ себѣ, Моисея съ его законами,
если въ твоемъ ужасѣ и мученіи
тѣ не почуешь Христа, страдавшаго

распятаго, умершаго за твои грѣхи —
тебѣ никогда не спастись. Что дать?
Очемъ можешь говорить ты? О своей вла-
сяницѣ, топзурѣ, о своей цѣломудрии,
повиновеніи, бѣдности? Что все это?
Что дастъ тебѣ законъ Моисея и
дѣла закона? Если бы и могъ благодаря
моимъ дѣламъ и моимъ заслугамъ придти
тихъ Христу и достойно любить его —
для чего онъ было нужно, чтобы Онъ былъ
преданъ ради меня? Но (ни одного ни)
вѣка ни на небѣ, ни на землѣ, хотя
рос было бы достаточно, чтобы искупить
меня — только былъ одинъ Сынъ Божій!
потому и понадобилось предать Его.
Чтобъ спасти меня Онъ отдалъ не
овцу, не вола, не золота, не серебро —
онъ отдалъ самого себя, всего себя за меня,
самого послѣдняго, самого прегрѣшнаго
изъ всѣхъ грѣшниковъ. Сынъ Божій
умеръ — это (вновь) дастъ мнѣ мужество
Я (тебѣ) принимаю эту смерть: въ этомъ
истинная сила вѣры... Ибо онъ умеръ
не для того чтобы оправдать праведни-
ковъ, но чтобъ оправдать грѣшни-
ковъ, чтобъ они стали друзьями Бога,
и наслѣдниками царства небеснаго...

Сынъ Божій умеръ — это дастъ мнѣ
мужество — если можетъ, постичь,
и преклонится предъ глубиной этой
величайшей и таинственной изъ
парадоксовъ. А между тѣмъ онъ стоитъ
на пути всякого кто не хочетъ
или не можетъ удовлетвориться обыден-
ными представленіями о сущности
жизни. И Толстой испытавъ, какъ
мы видѣли, это. Вѣру утвердилъ,
только здѣсь тогда какъ почувствовалъ

Бог умрет, что сам он
что со всем, навсегда погиб, что
нет для него на земле спасения.
Почему так, я не знаю и не умею
объяснить; больше я понимаю, что
такое утверждение находится в при
мом и очевидном противоречии
с логикой, со здоровым смыслом
и со всем повседневным опытом
человека. Но, сетует еще какой-то
опыт, который дает научно ва-
комплексованному, остроумному и безнрис-
нравственному человеку, заставляет
остановиться предо собою." Чтобы больше
вы чувствуете себя погибшим, тем
резче рисуете вам (смысл приведенных
нами слов Лютера, тем более вы
именно тот критик, которо-
му все спасение жертвой Христа. Эту
доктрину Лютер вашей и собст-
венного опыта. "Моей собственного
опыта" - вслушайтесь, вдумайтесь, что это значит?! Нет такого
же опыта, как и того, к которому
до сих пор наука приводила свою
историю естественного развития, но,
как же согласить эти два опыта?
И, согласимы ли они? Вероятно,
нет. В крайней мере никто
до сих пор не умеет согласо-
вать их. Поэтому кажется исти-
ной человеку одного опыта, пред-
ставляется ложью постоянно человека
другого опыта. Отсюда знамени-
тое credo quia absurdum, на ко-
торое, часто и очень несправедливо нападает
Толстой. Ну, если это два опыта

различная опять, что один
человек с ужасом, а другой
с надеждой может сказать: свет
Божий умерк, если один и тот
же человек в один и тот-же день,
даже тот было с Пьером, в один
и тот же час дате, пока тот
было с другими может уничто-
жить и вновь создать цилий мир-
то разве можно верить в нашу
мысль, в наши доказательства.
И разве не был рад Августин,
блаженной Августин, если только
ему принадлежат эти слова, воскли-
кнувь сидя на ночь дит.

IV

Пьер-Толстой разрушил и вновь
создал мир. Истина ясна во вновь так неожиданно и чудесно
созданном мире. Разумеется — у Толстого
была не одна семья, как можно думать
по приведенным выше словам „Истина".
У него была цель ясна, т.е. он чувство-
вал свою жизнь освещенной. Все, кругом
него казалось ему прекрасным вплоть
до душистой булавки и мягкой, чистой
постели. Одновременно с разрушением
старым миром погибли и все эмпи-
рические затруднения, которые прежде
отравляли жизнь Пьеру. Даже жена-
он, Элен, которая одна стоила тысяч
всяких других трудностей и, пожалуй,
могла бы чего доброго совершенно изуро-
довать гармонию новой жизни Пьера-
даже и жена чудесным образом была
спасена с его пути, также как и
державшие его в плену и терзавшие

француза. „Ах как хорошо! Как славно! говорил он себе. Постарой привычке он думал еще вопрос: „Ну, а потом что? что я буду думать?" И тотчас отвечал себе: „Ничего. Буду жить. Ах, как славно!" То самое, что он прежде мучался, чего он искал постоянно, цели жизни — теперь для него не существовало. Эта искомая цель жизни теперь не случайно не существовала для него только в настоящую минуту жизни, но он чувствовал, что ее нет и не может быть. И это отсутствие цели давало ему то полное, радостное сознание свободы, которое в это время составляло его счастье.

Он не мог иметь цели, потому что он теперь имел веру — не веру в какие нибудь правила, или мысли, но веру в живого, всегда ощущаемого Бога. Прежде он искал Его в целях, которые он ставил себе. Это искание цели было только искание Бога. И вдруг он узнал всем телом, не словами, не рассуждениями, но непосредственным чувством то, что ему давно уже говорила нянюшка: что Бог — вот Он, тут, везде. Он не тело узнал, что Бог в Карате-ве больше великий, бесконечный и непостижимый, чем в признаваемом масоном Архитектоне вселенной.... Есть Он, тот Бог, без воли которого не спадет волос с головы человека. Написав эти слова Толстой для того, чтобы добиться денег и славы, [illegible] Впрочем

Нам мы увидим, так похожи на то, что впоследствии уже после „Исповеди", после своего второго кризиса писал Толстой о людях, уверовавших в Бога. И вообще вся та черта, которая подмечается в Пьере, должна быть свойственна и, по новейшему учению Толстого, истинно религиозным людям. Пьер был всегда добр, ласковый и веселый, всегда расположен ко всем окружающим и в противоположность тому, что было раньше, всегда знал, что ему можно и нужно, и чего нельзя делать. На вопросы, которые прежде всегда повергали его в мучительное недоумение — теперь ясно, легко, и просто. А Толстой и до самого последнего времени непоколебимо держится того мнения, что религия главным, пожалуй, единственным образом нужна для того, чтобы ясно, просто и легко разрешить отвлеченный и для невдумывающихся вечно мучительно-неразрешимый вопрос: что делать? Пьер на этот вопрос умеет ответить и ответил. Значит, была у него вера? У Левина, душевный кризис которого, однако, изображается Т-ым с такой любовью и старанием, как душевный перелом Пьера — и это объясняется близостью самого Т-ого к новому Левину — тоже всесилие, просто, и понятно. И только не легко, нелегка Левина напряженной совсем не то, что после „Войны и мира"! Недаром Толстой писал

орету", беруть за скучную и пошлую
Анну Каренину съ однимъ желаніемъ
поскорѣе отдѣлаться отъ нея и тѣмъ
другимъ занятіемъ. Это признаніе несо-
мнѣнно вѣрно: Толстой тогда уже чув-
ствовалъ тѣ же противорѣчія
ствовать тѣ же противорѣчія на окраинахъ своей
души чужія, нелѣпыя раскаты громъ-
са вѣстника вѣчной грозы. но въ "Вой-
нѣ и Мирѣ" свидѣтельствуетъ о томъ,
что въ тѣ годы (1864-69) Толстой счи-
талъ себя въ такой-то мѣрѣ обладате-
лемъ вѣры, въ какой считаетъ себя
и теперь. И, сопоставляя его показанія
изъ "Исповѣди" съ показаніями изъ
"Войны и Мира" мы должны согласи-
ться, что и въ тѣхъ и другихъ одина-
ковая истина. Два раза: если Богъ
есть жизнь, если присутствіе Бога вѣч-
ловѣкѣ узнается по тому, что вѣчело-
вѣкѣ пробуждается сила жизни, то
несомнѣнно Богъ былъ въ Толстомъ
эпохи "Войны и Мира". Во вер, что онъ
предпринимался, онъ выходилъ столько
свѣжей энергіи и молодой страсти,
точно онъ только вчера первый чело-
вѣкомъ, вчера только созданнымъ Твор-
цомъ — не знавшимъ горькаго опыта
и безконечныхъ разочарованій историческаго существованія. Онъ былъ
"живымъ", по живымъ въ лучшемъ
смыслѣ этого слова — онъ умѣлъ много
любить и та любовь связывала его
не только съ близкими, съ родными,
но и со всей ея обширной, безко-
нечной родиной. онъ еще ближе подо-
шелъ къ народу и умѣлъ отдаться
всей душой не только сегодняшнему,
но и прошлому. Каждая строчка Вой-
ны и мира говоритъ объ этомъ.

Вспомните хотя бы эти столь прославившиеся слова: „благо тому народу, который в минуту испытания, не спрашивая о том, как поправлять поступки другие в подобных случаях, с простотой и ясностью поднимает первую попавшуюся дубину и наводит его до тех пор, пока в душе его чувство оскорбленной чести не замечается презрением и жалостью". Какая глубокая страсть, какой пафос. Имя могли бы без конца приводить открытки „И. и М." и даже их Анна Каренина, которые показывают, что Толстой совершенно радикально изменился от всех своих прежних сочинений. По-хорошей мысли, если позволительно думать, что о больных и здоровых можно судить по их внешним проявлениям. Больному все кажется постыдным, фальшивым, ужасным. Здоровый — во всем видит красоту, и молодую свежесть. Посмотрите, как Толстой этого периода описывает и чувствует природу. Не могу Посмотрите, как было рассказано далее о [illegible] с такой красотой он передает торжественное благолепие церковной службы, той службы, которую он так безжалостно высмеивает потом. Ни одной стороны жизни не оставил он без внимания все, даже безобразие, при его прекрасном обращении в красоту. Вот построс право- вдь его не видно в и И. и М., жатва [illegible] причастие

VIII, 150

присущей

2 2

к Толстому пришлось описывать. Даже ужаса войны в конце концов начинаешь только тем, что больше в ней открывается красота и благолепие человеческой жизни. Война и Мир есть одна непрерывная музыкальная симфония, это бесконечное славословие Творцу, создавшему чудный мир с его неисчерпаемыми богатствами на радость и утеху всему творению. Это — ли не вера?...

И, вдруг, к величайшему недоумению всех тех, кто знал Толстого-писателя словно сразу порвались все струны того дивного инструмента, на котором Толстой разыгрывал свои гимны творцу — появилась „Исповедь". Все, что говорилось до сих пор, заявляется уже с другого голоса с ложью и притворство. Я ничего не знал, и почти не верил — но притворялся знающим учителем, ибо мне были нужны деньги и слава. Теперь, вдруг почувствовав ужас приближения смерти, я всенародно каюсь в своих грехах и отрекаюсь от всего, что я когда-то говорил. У нас „исповедь" в течение четверти века не могла быть напечатана ~~не подверглась~~ распространялась лишь в рукописи и не могла быть предметом публичного обсуждения, ~~но~~, если бы

так что почему к ней привязаться по всему можно привязаться — цензура не произвела соответствующих впечатлений

она своевременно т.е. непосредственно
вслѣдъ за Л.К. могла бы быть напе-
чатана, ~~несомнѣнно~~ она должна
была бы произвести потрясающее
дѣйствіе. Если „И. и М", „Л. К" —
ложна, то гдѣ же правда? Если
Толстой, искренности и правдивос-
ти котораго такъ вѣрили, лгалъ —
то кому же послѣ того, вѣрить?
{И тѣмъ временемъ есть и „Исповѣдь"
и „Въ чемъ моя вѣра" и весь послѣду-
ющій художественный и философ-
скій произведенія? И-~~с~~амъ Толстой
ничего не предпринялъ для того, что-
бы помочь читателю своему отвѣ-
тить на этотъ вопросъ. Прежде я
лгалъ, притворствовалъ, училъ, ни-
чего не зналъ — теперь я искренно,
говорю, правду и знаю — упорно
твердитъ онъ — и только. Разби-
райтесь сами.

Посмотримъ же, чѣмъ новая вѣра
Толстого отличается отъ старой,
и въ чемъ на нее похожа. Посмотримъ
тоже, при какихъ условіяхъ произо-
шелъ второй кризисъ и какъ онъ про-
явился во вновь и какихъ результа-
тахъ привелъ онъ.

V

Несомнѣнно, что главная вдохновя-
тельница „Исповѣди" и вообще всего
творчества Толстого послѣдняго
30 лѣтъ была страхъ смерти. И этого
скрывать не нужно, ибо въ этомъ нѣтъ
~~плохого~~ нѣтъ ничего позорнаго, ~~но~~ Скорѣе
наоборотъ, тотъ человѣкъ, который ни-
когда не ужасался смерти и прожилъ
всю свою жизнь такъ, какъ будто-бы

толькі вѣры дѣлъ и словъ

Прервавъ.

ВК стр 114 гл V

-ло совьмъ и ожидаетъ въ концъ кон-
цовъ смерть, есть прежде всего ограни-
ченное существо, живущее, какъ живот-
ныя минутой. Поэтому ужаса смерти-
величайшій изъ извѣстныхъ людямъ
пароксизмовъ. Трудно себѣ даже вообра-
зить, до чего ~~была~~ бы плоской ~~и плоской~~ жизнь,
если бы человѣку не дано было ~~бы~~
предчувствовать свою грядущую ги-
бель и ужасаться ей. ~~Есть преувели-~~
~~чения~~ Вѣрно можно сказать, что все, что
создано лучшаго, наиболѣе сильнаго, (значительнаго и глубокаго
во всѣхъ областяхъ человѣческаго
творчества – въ наукѣ, искусствѣ,
въ философіи и религіи имѣло своимъ
источникомъ размышленія о смерти
и страхъ предъ ней. Какъ мы помнимъ,
даже первая половина жизни Т. –
творческая
получила всю свою силу и напряженіе
только благодаря тому, что мысль
о смерти и гибели доводила его до
отчаянія. Въ этомъ отношеніи вто-
рой кризисъ, по существу своему, почти
даже не отличается отъ перваго.
~~Разница лишь въ томъ, что~~ Но
~~ѣ~~ѣ-
нное въ молодости средство спа-
сенія Толстой теперь считаетъ ни-
чтожнымъ и ищетъ иного,
такого, которое выдержало бы всѣ
испытанія. Поэтому поръ, какъ онъ
~~сошу~~
разсказываетъ его сперва въ Исповѣди (онъ
теперь, нужно замѣтить свою преж-
нюю вѣру не только считаетъ ошибочной, но и
~~считаетъ~~ ~~ошибочной~~ ~~и даже~~ говоритъ о прежней
его жизни его прежними словами)
~~то лишь~~ въ была вѣра въ радости
и смыслъ жизни. Онъ вспоминаетъ
извѣстную восточную сказку

Какъ человѣкъ виситъ на тонкой
нитки надъ глубокимъ колодцемъ.
Нитку непрерывно грызутъ двѣ мыши, бѣлая
и черная такъ что каждую минуту она можетъ оборваться. На
днѣ колодца — страшный драконъ,
который проглотитъ его, какъ
только онъ упадетъ. Вокругъ
колодца — тоже пустыня: наверху
поджидаетъ его страшный звѣрь.
И вотъ человѣкъ, въ столь ужасномъ
положеніи вдругъ увидѣлъ въ сторонѣ
капель меду. И, забывъ дракона,
мышей и звѣря, онъ бросается на
медъ и наслаждается его сладостью.
Вспомнилась Толстому индусская легенда
о Сакіа-Муни, который бѣжалъ изъ
своего дворца,
въ которомъ онъ такъ жилъ, что не
видалъ ужасовъ нищеты и всякихъ
мученій, нищаго и больного. Наконецъ
онъ достигъ большой высоты и повторилъ вслѣдъ за буддійскими мудрецами
ихъ знаменитыя слова:
сущій, сущій и вѣчный сущій.
Все это образы, которые найдетъ нужнымъ
отразить въ своихъ произведеніяхъ и Толстой. Толстой, притомъ, настаиваетъ, что онъ былъ чудовищно и физически здоровъ: что онъ могъ проживать подрядъ по 8-10 часовъ въ кабинетѣ за занятіями и не отставалъ отъ мужиковъ въ полѣ за косьбой. Все это
такъ, но въ здоровомъ человѣкѣ, которому
преслѣдуютъ образы восточной сказки,
изслѣдуя о Сакіа-Муни и отчасти дости-
гаетъ плохо повторится. Вторично
бы, если бы Толстой повторилъ бы
то, что онъ сказалъ про себя Гюйо
тому назадъ: я чувствовалъ, что я не

несобственно здоровъ и долго что не мо-
жетъ продолжаться повториться! Да собственно
въ его „Исповѣди" встрѣчаются такія
описанія его душевнаго состоя-
ній, которыя почти прямо говорятъ
въ пользу нашего предположенія, слу-
чилось то, что случается съ какимъ-
заболѣвающимъ смертельною внут-
ренною болѣзнью. Сначала появля-
ются ничтожные признаки недомо-
ганія, на которые больной не обращаетъ
вниманія, потомъ признаки эти
повторяются чаще и чаще и сливаются
въ одно непрерывное повременно стра-
даніе. Страданіе растетъ и боль почти
усилится оглянутся, какъ уже сознаетъ, что то, что онъ принялъ за не-
домоганіе, есть то, что для него значительнѣе всего въ мірѣ, что это — смерть.
Если принять въ соображеніе, что
Толстому тогда не было еще 50 лѣтъ,
что физически онъ и въ самомъ дѣлѣ
былъ здоровъ, что жизнь его сложилась
такъ благополучно, какъ только о такой
можетъ мечтать въ числѣ всѣхъ — т.е. что
словами, если весь ужасъ испытанныхъ
Толстымъ былъ безпричинный (въ обык-
новенномъ смыслѣ этого слова), то не
можетъ быть никакого сомнѣнія въ томъ,
что психіатръ ни минуты не колебался
бы въ діагнозѣ и предложилъ бы свои
услуги и свои опаты для леченія. Но,
если мы и готовы согласиться съ діаг-
нозомъ психіатра — то, несомнѣнно, нужно
радоваться, что при второмъ, какъ и
при первомъ кризисѣ Толстой не ввѣ-
рилъ никому своей судьбы и самъ

стали лечить в себе. Гоголь не разочаровать, что у него существует любовь, что если Левъ заболеваетъ, то единственное для средство лечиться — понимать обезьяну и разорвать ее. Толстой обыкновенно тоже так начинал свое лечение. В первый раз он свое заболевание он ознаменовал набросился на обезьян. Он разорвал на части и напалсока, и всеобщую науку, и педагогику и т. п., как мы знаем, справился на долго он своей болезни. Во второй раз повторилось тоже самое. Он стал искать обезьян — и, конечно, нашел их в достаточном количестве: современная действительность вообще представляет в этом отношении только разнообразная картина. Он напал на наше общество, на прогресс, на науку, на церковь и с неутомимостью и энергией человека, который только что взлез на гору, никому и ничему не давал пощады: прочтите не только „Исповедь" — прочтите „Переписку в Москве", „Что мы вчем" и „Что же нам делать". Конец и в первой раз, Толстой пощадил единственно только Карамазова — смиренной, многострадальной русской народ. Но, и то немного. Постепенно угасала в нем и вера в народ, уступив место вере в Бога добра, которой мы нам теперь и придется внимательно заняться.

Пока установим только тот факт, что во второй раз с Толстым

произошла чудесное превращение.
Во второй раз он сам принуждён был разрушить мир и сам же возсоздать новый. Настаивать, насловь принуждён. Все, что передаётся Толстой в своей „Исповеди“ и в других сочинениях второго своего периода, все дышет необыкновенной искренностью, все правдиво. „Я мучительно и долго искал, не ищу праздного любопытства, не вяло искать, но искал мучительно, упорно, дни и ночи – искал как ищет погибающий человек спасенья...“ Предчувствовал смерть – и несмотря на то, что она уже второй раз явилась, и, что, как казалось бы, на этот раз Толстой, окруженный прежним опытом, должен был бы знать, что ей возможно бороться и, что даже ее побудить можно – Толстой такой же ужаснулся, как и в первый раз. Три года он проводит в мучительной отчаянной борьбе – и снова выходит победителем. Шестов, как в свое время Керн, он чувствует, что не боится больше смерти, что не боится больше ничего в мире. Но, если Она снова придет – что будет с Толстым? Вернет ли дядя ему спокойно встретить ее или снова вскользнет в нем всё скрывшееся ужасное снова начнется титаническая нечеловеческая борьба.
Не зная, как смотрят другие, не

слово бога ему показалось, что это обрушилось на него невыразимое ужас
они не умолкли
новый
Узнает ли ее? Или опять ему не говорят, что она умерла
впервые?

Знаю, что думать сам Толстой по для меня весь смысл изучения великого великого дела великого русского писателя в этом вопросе. Мне кажется, что каждый раз, когда Толстой соприкасается с матерью-смертью в нем рождаются новая сила, подобно тому как Антей каждый раз, когда он соприкасался с землей. От того, вероятно, я ~~любого преимущественно~~ Толстого изучаю, испуганного, изнемогающего, беззащитного и более равнодушного к Толстому творящему, Толстому победителю, Толстому-учителю. Когда я читаю в сотый раз „смерть Ивана Ильича“, или „Крейцерову сонату“ или „Холстомер“ и „работника“ — у меня дух захватывает. Я чувствую, говоря словами Лютера, что Бог взял в руки свой страшный молот — закон, но что этот молот в руках Бога. Вдумайтесь, мимоходом, укажу я, чрезвычайно на мой взгляд важно, что толстовское чувство свойственно не одному мне, что, с другой стороны, ~~они~~ истинно возникает не только у пропитанного средневековым догмою монаха, но у каждого человека, который не ставит за устроенную ограду обыденной жизни. Не догмы, не воспитание учение подсказали Лютеру его знаменитые слова. Нужен был для этого весь он, его

своего опыта. Точки, говорю, вместе
и Толстой, но, что еще любопытнее и важнее, точки вместе и
Ницше выразили их в словах,
не менее страстных и патетических, чем Лютер. Я уже однажды приводил их, но считаю
возможным и полезным вновь
повторить их, для того чтобы
хоть отчасти пролить свет на ту
кромешную тьму, которая волею
судеб или стараниями человека,
сгустилась как раз тамъ, где
решаются все наши важнейшие
вопросы. „Школа страданий, великого страданий – говорит Ницше –
знаете-ли вы, что только в этой
школе до сих пор совершенствовался человек? То напряжение души
в беде, которое дает ей силу для
ужаса при виде близкой гибели, ее смелость и находчивость
в искушении вынести, претерпеть, истолковать, утилизировать несчастье, – все, что когда либо
было ей дано глубокого, таинственного, хитрого, великого: разве все это
она получила не от страдания, великого страдания? В человеке соединены творец и творение; в человеке
есть материя, обломки, глина, грязь,
бессмыслица, хаос; но в человеке есть также творец, художник, твердость молотка, божественный созерцатель, седьмого дня: понимаете-ли вы эту противоположность?
И понимаете-ли вы, что ваше сострадание-

направлено на „творение" в человеке, на то, что должно быть сформировано, разбито, вковано, разорвано, переплавлено, очищено на то, чему по необходимости следует, должно страдать? А наше сострадание – ведь понимает, к чему относится наше обратное сострадание, когда оно восстает против вашего, наше против нужды во всяких видах ничтожности и слабости"? Разве эти слова – не буквальное повторение слов Ницше? И разве, не то же самое говорится в „Смерти И. И." Толстой? И при этом Ницше, Толстой и Ницше не сговаривались. О каждом из них можно сказать, повторяя Джемса, что они взяли свое „знание" из личного опыта. Но Толстой не признает Ницше: Ницше говорит об искуплении – а современная наша и весь человеческий разум не может принять всерьез этих разговоров. Толстой не признает и Ницше:

„мальчишеское оригинальничанье полубезумного Ницше пишет одну (вторую) из своих (одних) последних произведений, не представляющее ровно ничего нового и связного, какие-то наброски безграмотные, ничтожные и необоснованные мысли... или бессвязный, самым поверхностным образом внушенный по эрфурт писаний одержимого манией величия бойкий, но ограниченный и неправильный ум!" Этот отзыв Толстого о Ницше, также, как и его критика учения о благодати[1] странным

[1] Что такое религия и в чем ее существо (Ред.)

[1] Прим. в гр. 106 стр. „Ницше и его вера"

Исп. 115 прочесть конец вып

образомъ идутъ въ разрѣзъ съ основами
его собственнаго ученія. „Утвержденіе
о томъ, что тѣ воды, а не истина,
есть самое нелѣпое слово, которое
онъ сказалъ одинъ человѣкъ другому
пишетъ онъ въ „Исповѣди". Въ этой книгѣ
въ томъ мѣстѣ" онъ еще подробнѣе
распространяется на ту тему половину
Матѳ. V, 23 „кто же скажетъ своему бра-
ту „рака" — подлежитъ синедріону, кто
же скажетъ „безумный" подлежитъ геен-
нѣ огненной. Рака значитъ „ничтожес-
тво". Посмотрите отзывъ Толстого
о книгѣ — въ немъ, кажется, будто онъ того,
чтобы нарушить особенно любимую
заповѣдь Толстого во всемъ ея объемѣ,
употребилъ оба слова — и ничтожество
и безумецъ. Но, какъ только дѣло каса-
ется „ученія" — Толстой первой всегда пре-
стаетъ принимать неисполненіе собственныхъ
правилъ, словно для затѣмъ, чтобъ предуп-
редить и спасти отъ соблазна послѣдствія
своихъ ученій и подражателей. Не
въ моемъ ученіи, не въ моихъ правилахъ и
заповѣдяхъ дѣло, говоритъ онъ всѣми
своими поступками и даже книгами свои-
ми. Если хотите быть со мной — прис-
мотритесь моимъ ученіемъ....

Вѣроятно, эти строки не попадутся
на глаза Толстому. Онъ всегда — а
теперь въ особенности такъ много пи-
шутъ, что онъ не можетъ прочесть и
сотой доли всѣхъ посвященныхъ ему ста-
тей. Но, если бы попалось, онъ бы повѣри-
лъ, конечно, обо мнѣ, какъ говорилъ о мно-
гихъ — „рака" и „безумецъ", не подлежащихъ
ни Синедріону, ни геенна огненной.

VI

Я указалъ на то обстоятельство, что
второй кризисъ во всѣхъ отношеніяхъ явил-

ется повторением первого кризиса. Такая причина была – ужас смерти, такое душевное состояние – отчаяние, такое средство – разрешение обстоятельств, и, наконец – такое спасение: вера в Бога. Вот как он описывает свое второе спасение: „я ощущал на самом себе, на том, что происходило во мне и я вспоминал все эти сотни раз происходившие во мне умирания и оживления. Я вспоминал, что я жил только тогда, когда верил в Бога. Как было прежде, так и теперь: стоит лишь знать в Бога и я живу; стоит забыть, не верить в него и я умираю. Что же такое эти оживления и умирания? Ведь я не живу, когда теряю веру в существование Бога, ведь я бы уже давно убил себя, если бы у меня не было смутной надежды найти его. Ведь я живу, поистине живу только тогда, когда чувствую его и ищу его. Так чего же я ищу еще? Восклицал во мне голос. Так вот Он. Он есть то, без чего нельзя жить. Знать Бога и жить – одно и то же. Бог есть жизнь. Живи, отыскивая Бога, и тогда не будет жизни без Бога. И сильнее, чем когда-нибудь все осветилось вокруг меня и свет в этот уже не покидал меня. И я спасся от самоубийства. Когда и как совершился во мне этот переворот, я не мог бы сказать. Как незаметно, постепенно уничтожалось во мне сила жизни, и я пришел к невозможности жить, к остановке желаний, к потребности самоубийства, так же постепенно, незаметно возвратилась ко мне эта сила жизни. И странно, что то

сила жизни, которая возвратилась
Кому, была не новая, а самая ста-
рая — та самая, которая влекла ме-
ня на первых порах моей жизни.....
Только та и была разница, что тог-
да все это было критично бессозна-
тельно, а теперь — сознательно. Я
нарочно подробно остановился здесь
на описании второго кризиса Тол-
стого, подобно тому как раньше
столь же подробно остановился на
первом кризисе. И теперь спрашива-
ю, чем они отличаются друг
от друга? И отвечаю, положив руку
на сердце, отвечаю: до сих пор ни-
чем. Была определенная, верная
чувство Бога сознано в таких
словах: Бог есть жизнь, в вере гово-
рил то же самое. Но теперь Толстой
не признает Веры, жить не призна-
ет своей же „Войны и Мира" и свои-
же „Анны Карениной", ему нужно было
напасть на самого себя, назвать
Бога всю свою сознательную и
действительную жизнь. Плутарх, описы-
вая Цезаря во Вторую гражданскую войну
говорит, что Цезарь словно злоупо-
требил своей прежней славой и кото-
рые подвигами затмил старые. Новый Бог Толстого тоже
вселился его старого Бога, как новая
дружественность его не вытеснила старую.
Жажда разрушения переходит
в жажду саморазрушения. Или, мо-
жет быть, наоборот? Может
быть началом всему была жажда
саморазрушения? Я думаю именно,
что вероятный всего. Недаром говорил
Достоевский, что в человеке

И еще: "
Исп. 90. " Вера есть знание смысла
жизни, вследствие которого человек не
уничтожает себя, а живет. Вера есть
сила жизни "

Жажду разрушения всего мира.

чистилищ разрушения покрайской мере
только-все смесь, как и чистилищ
возмущений. Достоевский много, очень много
в этих делах он, и сильной, ясной Пушкин имеет такого рода
предчувствий: все, все, что гибелью гро-
зит, для сердца смертного так ты
тельными наслаждения. Рука не мо-
жет не ломать во всем, что созда-
ет и делает тяжкой радости и
разрушений. Страшно, безумно? И
это не только потому, что обыкновенно
человек пишет. и рассказывает
о происшедших в нем душевных
бурях и опустошениях лишь после
того, когда они прошли и
они уже находятся вне опасности.
Этот момент так же наблюдается
в жизни и творчестве Толстого — ~~и~~
~~здесь у него еще будет много впереди~~
почувствуется, что опасность сама
по себе влечет со-хотя они совершенно
но боятся. Так птица с криком
и ужасом бросается в пасть змеи —
какая таинственная сила заставляет ее идти на верную и страш-
ную гибель?

Ищи по ней, все по ней было, сам ней,
нет бога, некому молиться, некого про-
сить — нет этого рождается новый мир,
вера в себя, в бога, молитва и упо-
вание. В оба кризиса Толстой испы-
тал одно и тоже. И вот, после второго
кризиса, как и после первого Толстой
начинает осуществлять свою веру
в жизни, в делах, хоть он говорит.
Частной его жизни, хотя об ней много
писали и пишут, мы не знаем, да частная
жизнь хотя бы и великого человека не под-

пища очищенными.

лежит обсуждение присяжными.

По литературным условиям толстого факта нам достаточно материала для заключения того, что может быть вполне человеческими силами. Вслед за первыми признаками Т. для нас „Ч и М" и Д. К., за вторым — целый ряд религиозно фил. трактатов и не мало художественных произведений, признанных всем миром перлами литературы. Первыми произведениями были „В чем моя вера" и „Исповедь", как предисловие к критике догматического богословия. В „Исповеди" кроме описания происшедшего с Т. переворота — есть еще указания на те причины, в силу которых они не могли принять христианства ни в одной из (истории существ. истор.) его форм, теми словами причина его разрыва с церковью. Это представляет то же немалый интерес, для некоторых даже очень серьезный и большой (для всех интерес), но нам это, в виду той цели, которую мы преследуем, совершенно не занимает. Догматические вопросы, так же как и вопросы церковного устройства нам представляются Толстой напал на церковь в той же ярости, с какой в свое время он напал на капожского, но мы уже знаем, что это значит: Лев забодался и стал по своему способу мычать. Критика догматического богословия, страшно обидная и оскорбительная для истинных чад церкви, поражает часто своей совершенной непристойностью. Мы уже приводили, мимоходом, образец отношений Толстого к догмам спасения веры. Как догма она, конечно, не выдерживает натиска рационализма и в том ее только вина, которое

ся дастся ходячими катехизисами до такой степени слова, что нам не стоит даже нападать с такою силой. Важодить, что Т. ич пушек по воробьям. Гдожде можно сказать и по поводу очень и очень многих страниц „критики догматического богословия". Когда Вольтер бывало чутьишке лить тому назад восставал церковную догматику, это имело свой смысл, ибо для очень многих было новостью. В наше же время повторять Вольтеровскі опаты совершенно бесплодно и нужно прямо удивляться, как у Толстого хватило терпения и охоты так подробно и обстоятельно разбирать двухтомное сочинение Митрополита 2 Московского Макария. Достаточно было сказать два слова о томъ, каково условій, пользуясь Гдолстым ич для признаній высказываемого положения истинным, что тоги, чтобы всякому стало очевидным, что ни одно изъ положений „православно догматического богословия" Т, тогдаши и весьма, признающим общеизвестный требованій Т-го принять бы тв не можетъ. Не было необходимости отдельно разбивать догматъ о Троице, о порознь восставать въ церковныя таинства и пр. Еще менѣе было смысла борьба того с церковью по вопросамъ этическимъ т.ч. и по вопросу объ истолкованіи этическаго ученія Христа о томъ, можно ли христіанину идти на войну, клятвъ-людей, приносить клятву, разводиться с женой и т. д. Все эти вопроса въ самомъ дѣлѣ спорные и, главное, допускающіе обсужденіе.

Вопросы не догматические, как сам
Т-й не раз говорит, принимаются
на веру либо людьми совершенно
несведущими и невежественными,
либо такими, которые имеют корыст-
ные побуждения проповедовать дог-
маты, над которыми сами не при-
нимают. В обоих случаях опора
излишня и неуместна. Истин
ны, по словам Толстого, поддаю-
тся. Именно поэтому-то критика
догм. богословия совершенно неинте-
ресна. Но, тем более интересно
и важно для нас „новое" толко-
вание Евангелия, которое дает нам Толстой.
Оно находится в связи с его новой
религией или, вернее, своей новой
религией Толстой пытается постро-
ить, по его словам, на Евангелии
и только на Евангелии.
Но Толстой утверждает, что он
отнюдь не толкует Евангелий.
Книга „в чем моя вера" и тому
начинается: „Я не толковать
хочу учение Христа, а только одно-
го хочу я: запретить толковаться". Но, что значит эти
слова? Толстой говорит „толко-
вать учение Христа". Значит это
„толковать Евангелие"? Если нет,
то откуда мы знаем учение Хри-
ста? Кроме Евангелий источников
нет. Т.е. Церковь хранит еще
предания, но Толстой, конечно, не
признает преданий, которые она выставляет, о Христе.
Значит не толковать учение
Христа все равно, что не толковать
Евангелий. Толстой, однако, на

в собственно интересно

это ни за что не согласится ни
теперь, когда онъ въ религіи видитъ
уже смѣсь всѣхъ существовавшихъ
религій, ни тогда, когда онъ един-
ственную истинную религію видитъ
въ ученіи Христа. Черезъ страницу
послѣ того, какъ онъ торжественно объ-
явилъ, что не хочетъ толковать ученія
Христа и мечтаетъ только о томъ, чтобъ
совершенно запретить всякія толкованія,
онъ приступаетъ къ толкованію Евan-
гелія, которое и этимъ толкованіемъ
занимается на пространствѣ всей книги
„Въ чемъ моя вѣра". Да оно иначе и не могло
быть у Толстого: „и потому былъ принятъ
теперь всякую вѣру, только она не требо- И-95
вала прямого отрицанія разума, которое
было бы ложью." Разъ условіемъ вѣры явля-
ется „разумъ" — несомнѣнно ни одно ученіе
не можетъ быть принято безъ критики;
какъ мы увидимъ сейчасъ
такъ какъ несомнѣнно, что ученіе Христа
далеко въ той части и въ томъ пониманіи, въ какомъ оно допускается Толстымъ,
никакимъ образомъ разумомъ принято
быть не можетъ. И Толстой это, когда
онъ знаетъ: „... я бы сказалъ непроводу, И-80-81
если бы сказалъ, что я разумомъ пришелъ
къ тому, къ чему я пришелъ... Разумъ рабо-
талъ, но работалъ и еще что-то другое,
что я не могу назвать иначе, какъ сер-
цемъ чувствомъ." И тутъ еще возникаетъ
вопросъ: точно ли разумъ всегда не-
полнитъ свои функціи объективнаго
искателя, даже тогда, когда он торжественно
провозглашаетъ
свой единственной учителю истину.
Самъ Толстой по этому счету сообща-
етъ намъ чрезвычайно интересныя

Кат. 81 стр.

1) А пусть не говорят, что соединение, приводящее к исчезновению 4-х Евангелий, в которых Толстой и черпает в самых лживых толкованиях вопрос евангельским годами подтверждает слов о законах греческих

вещи: "Истина всегда была истина, т. 105
как дважды два есть четыре, но я не
признавал ее, потому что признать
дважды два-четыре, я уже должен был
признать то, что я не хорош. Чувство
быть себя хорошим для меня было
важнее, и обязательнее, чем дважды
два есть четыре." Это ретроспективное
признание - хронологически, что весь тако-
го рода признаний у Толстого ретро-
спективна, т.е. дается тогда, когда
они уже к настоящему не относятся и
имеют силу лишь по отношению
к прошлому - невольно наводят на мысль: как же доверяться разуму, да и
Толстовскому или, если угодно, толстовскому разуму, если они склонны
таким компромиссам. Правда Толстой
говорит, что это у него было только
прежде, до 50 лет, а теперь этого
нет. Но, ведь прежде они не замечали
такой особенности. А
что, если и она и теперь сохраняется
что, если и теперь быть хорошим
важнее и обязательнее, чем дважды
два четыре?! Можно такому разуму
доверять судьбу важнейших челове-
ческих [redacted]? Тем более, что
как мы только что видели, [redacted] не разум спасал его от отчаяния
в самые опасные минуты. Работа-
ла в нем какая-то чудесная, таин-
ственная сила, которую они почему
то (я говорю пока не почему-то, а не потому, что тот
требовал разум) назвали вместе с
говорящими словами "сила жизни".
Но, так или иначе, Толстой присту-

пасть на толкования и критики Евангелий, на искание религии (не Бога откровений – не следует смешивать эти два разные понятия) под верховным руководством разума. Посмотрим, что из этого вышло.

VII

Как всегда у Толстого, содержание и последовательность мысли – и это отличает его философию – богословие и исследований столь значительными и важными. Даже критика догматического богословия – в конце концов книга замечательная, ибо помимо вольтеровского, общечеловеческого в ней много истинно толстовского, т.е. противоречащего разуму. Это-то чувство или этот инстинкт и подсказали Толстому, что если Евангелие есть действительно слово Божие, то существо его нужно искать в наиболее неопределенных и загадочных словах Христа т.е. именно в тех, которые разум никакого смысла извлечь не может, которые разум отрицает всем своим существом. „В чем моя вера" и начинает поэтому с нагорной проповеди. И Толстой принимает ее – вопреки существующим и устоявшимся ее – настолько вполне, стремящимся присобить их к условиям нашей обыденной жизни и к привычкам разума – целиком, без всяких изъятий и дополнений в буквальном ее смысле и в самом духе смелых и недопускающих разумного понимания слов. Что никто, до него, не понимал этой нагорной проповеди, что истори-

ческое христианство понимало ее
таким образом, как будто бы было
написано прямо противуположное то-
му, что мы всегда читали в нем — до
этого толстому одна часть. Если до
сих пор истинный мир был для всех за-
ратч — равно как и того следует, что
они и на будущее время христиане
остаются завратами. „Вдруг я не
могу присоединиться к той (странной), что
после (всего) исповедания Христова закона
миллионами людей, после тысяч
людей святых, посвятивших свою жизнь
изучению того закона, теперь мне откры-
лось, как что-то новое, открытие
учение Христово. Ну, как это ни стран-
но, это было так..." ... „Я остался
опять в одних с своим сердцем и
таинственной книгой перед собою".
И вот сердце толстого вбирает
в таинственной книги самые
таинственные и загадочные слова:
„вы слышали, что сказано древними:
око за око зуб за зуб. А я вам го-
ворю — не противьтесь злому". И сомнения,
что трудно придумать другие слова,
которые бы находились в более яв-
ном противоречии с нашим разумом и
повседневным опытом которого че-
ловека. То-есть, вероятно, эти слова
я знаю, что были люди, которые верили
в эти слова, но я не знаю людей, которые
бы их понимали. Это наиболее типич-
ный и характерный случай, когда вполне
прямо нелепо, дико явно. Вся
очевидность, весь опыт современного и
исторического человечества восстает
против (непротивления) принципа
непримиримости с одинаково яростно
и убедительно умеет он назвать
благой исполнение и Божий Зла —

К.м.ч. 47

VIII
p 132

тоует. Исть тъи пори, какъ европей-
ское человѣчество мира официально призна-
ло Евангеліе божественной книгой, неколь-
кими и Іоанномъ Златоустомъ непосред-
ственно и превосходно опровергали эту дога-
вшуюся, однако, не столько на
откровеніе, сколько на свой человѣче-
ский разумъ. Какъ извѣстно, нападки
разъ, когда человѣку трудно выполнить
истину откровенія, онъ ее противупоставляетъ ей
разумъ, хотя очень охотно пренебре-
гаетъ разумомъ, если божественная
мудрость ни въ чему не обязываетъ.
Но, Толстой предпринялъ задачу по
истинѣ исполинскую. Дерзая послѣ-
довательно (Толстой бываетъ и послѣ-
довательнымъ) возвыситься надъ невоз-
можности отрицанія разума, онъ вступа-
етъ въ полемику съ Іоанномъ Златоу-
стомъ и всѣми церковными боговѣдами,
доказывая, что именно разумъ оправда-
ваетъ ельва Христа в непротивлении
злу. И здѣсь послѣдовательность
Толстого не случайна! онъ въ самомъ
дѣлѣ не можетъ отрицать разума.
Но онъ не можетъ ~~не признать~~ отказаться быть
словъ Христа, тѣсно связанныхъ съ его проповѣдью.
давшихъ онъ, въ тотъ моментъ, когда онъ
для себя читалъ Евангеліе, во всемъ Евангеліи
всей меня (больше всего тронули и умилили
та, въ которомъ проповѣдуется
любовь, смиреніе, униженіе, самоотверг-
женіе и возмездіе добромъ за зло. Поэтому
и оставалось для меня существенностью, то, что я сердцемъ любилъ въ немъ,
то, во имя чего я послѣ отчаянія призналъ
истинность того смысла, который при-
даетъ жизни христіанскій трудовой на-
родъ. Сердцемъ, дѣйствительно, можно
признать эту часть ученія Евангелія, но
только заставить разумъ санкціони-
ровать это рѣшеніе сердца. И, поэтому,

в. ч. м. в.

можно долго радоваться ея таинственной и загадочной непостижимости

что собственно должна дать въ этомъ
случаѣ, по крайней мѣрѣ, поклонникамъ Тол-
стого санкція разума? Зачѣмъ она?
Неужели они обойтись безъ нея? Поставимъ
и подчеркиваемъ: я считаю толстовского
нагорной проповѣди безусловно вѣрнымъ.
Даже больше, я считаю, что по поводу на-
горной проповѣди (но отнюдь не по поводу
всѣхъ ученій) Толстой почти выдержалъ
поставленную себѣ задачу: брать слова
Христа такими, какими они дошли до
насъ, не разрѣшая себѣ произвольно ихъ ис-
кажать, ни скучивать ихъ значенія.
Вполнѣ онъ правъ, когда, пользуясь
и установившимися ограничительными
и расширительными толкованіями, каж-
дый разъ повторяетъ, что Христосъ гово-
ритъ то, что Онъ говоритъ и, что если-
бы Онъ не только говорилъ то, что гово-
рятъ представители разныхъ церквей,
то умѣлъ бы сказать ихъ словами. Но,
когда онъ, кромѣ всѣхъ затѣмъ пытает-
ся доказать, что исполненіе завѣтовъ
Христа принесло бы не только всѣмъ лю-
дей, если бы они согласились принять
ихъ, но и каждому отдѣльному человѣку
къ счастью, къ великому счастью (такой смыслъ имѣетъ
понимаетъ Толстой "санкцію разума"),—
тогда поневолѣ задумаешься. Зачѣмъ
тайнъ очевидно скрывать, для всѣхъ насильно
истину? И, почему человѣкъ столь огром-
наго ума не хочетъ видѣть и знать
того, что знаетъ не только Іоаннъ
Златоустъ или полемизировавшій съ Тол-
стымъ И. Соловьевъ, почти знаетъ каж-
дый школьникъ. Мнѣ тѣмъ Толстой
не знаетъ, не хочетъ знать. Онъ восхи-
щается, очень удачно, одной отсталой пред-
ставительницей христіанства всѣхъ вѣковъ
бѣдной молодой Франадеркѣ, простой вѣрую-
щей, которой на вопросъ Толстого
о томъ, читаемыми ею Евангеліе, побѣдо-
носно отвѣчаетъ: а тѣ воинскій Уставъ

Почему

что онъ "понимаетъ" слова Христа, и какъ говоритъ,

Немеч с удив[ле]нь ~~его комментарии~~ публицист нач Студенки
читать. Онъ вообще, побаиваю[сь] зрав
мыслить написался, в которо необходимости
согласовать Евангелие и требования
государства, всегда вдуть, если не кот-
рятому, как у молодого преподавателя пе
ред той силой подчинений Евангелий воин-
скому Уставу. Но, все это, ведь во конце
концов имеет второстепенное зна-
чение. Ну, люди пала волнуются приятс-
ками и казнили их короткой, некур-
ной соображений по учение — кто этого
не знает? Главный вопрос в том,
выдержит ли это ~~это~~ разумную критику
и, если не выдерживает — то, чьим по-
жертвовать: учением или разумом. Вот
тот страшный и мучительный вопрос,
который не раз уже становился предъ
людьми. Бывали смельчаки, которые
решали непоколебимо вопрос в пользу
учения, не останавливаясь даже предъ
необходимостью заявить: credo, quia ab-
surdum. Но, Толстой ~~пре~~ не мог при-
нять такой альтернативы, он в своих
отношений остался верным своему
времени, так упорно (я говорю о послед-
ней борьбе) стремящимся примирить
веру с разумом. Это странно, но это
так. Толстой, который кажется до
такой степени открыто протестует
против всего современного — в самом
существенном и важном пункте разде-
ляет наиболее распространенный и
повидимому, наиболее ложный мучи-
тельный предрассудок нашей эпохи
Возможность своим поступкам произве-
дения (подать) право тем и определяется ре-
лигий: „религия есть установление,
согласное с разумом и современными
знаниями отношение человека к вечной
жизни и Богу". Читаешь и не веришь себе,
что Толстой мог это написать, Толстой
всю жизнь свою восставший с совершенной

Что такие ф-ии и в чем сущность, 107,

наукой и восхищавшимся! Да и въ самомъ дѣлѣ, какой цѣны была можетъ быть религія, если она впредь мѣняется вмѣстѣ съ успѣхами т.е. современными суевѣріями? Самъ Толстой говоритъ со свойственной ему тонкостью и проницательностью взгляда, что черезъ нѣсколько сотенъ лѣтъ наши знанія будущимъ ученымъ покажутся такими же смѣшными ошибками, какими намъ кажется средневѣковье. И имѣть давать рѣшающее слово въ вопросахъ о Богѣ! И потомъ, о какихъ знаніяхъ говоритъ Толстой? О ренгеновскихъ лучахъ, о микробахъ чахотки или холеры, о свойствахъ радія? Очевидно нѣтъ — все отъ прямого отношенія къ религіи не зависитъ. Очевидно, тутъ дѣло идетъ объ основныхъ принципахъ, о предпосылкахъ современной науки — объ естественномъ развитіи, о законѣ причинности и т.д. Съ тѣми-то принципами изъ современныхъ людей, обязанныхъ считаться, когда ищетъ вѣры и Бога. Всѣ Спенсеры, Дарвины, Милли, Всѣ Нагели какъ моряки всѣ компаса, не можемъ пускаться въ путь?! А Толстого рекомендуютъ для чтенія предисловіе къ книгѣ Корнелиссена, Современная наука", и Корнелиссенъ собственно, не представляетъ совершенно самобытныхъ возраженій противъ основательности научныхъ теорій и противъ теорій вообще. И, значитъ, современные ученые и философы бываютъ гораздо строже и безпощаднѣе, чѣмъ Корнелиссенъ. Посмотрите, вѣдь въ

В.Г. м. б. 115. „я убѣжденъ, что черезъ несколько вековъ

даже девяти

дуализм трансцендентальной идеалистич
подч руками современных гносеологич
марбургской школы или виндельбанд-
риккертовского направлений или каких
столь позитивных Миллей, в практи-
тических, один их наиболее видных
представителей которого, в томч числе
посвящает свой трудч Миллю, как родо-
начальнику. Ни практикамч, ни идеа-
листамч не приобрасть даже возможности
знаний. То, что оба эти столь враждую-
щие между собой течения признаютч
дуализмч, есть лишь система отноше-
ний и некоторая воображаемая, на которой
разыгрываются безпорядочные внешат-
ельные индивидуумов. Споръ между
прагматиками и идеалистами идетъ только о пре-
родѣ вещами. Первые утверждаютч,
что вещь, хотя и все въ мiрѣ суще-
ствующее и созданное самимч человѣкомч
для пользы, ибо все только для пользы и со-
здается, второе же не отрицаютъ, что вещь
имѣетъ внѣшнюю сущность вещи, т.е. суррогатъ
знанiя, а нѣкоторые настаиваютъ на томч,
что она хотя сделана для некоторой
цѣли, но отнюдь не для низко утили-
тарной, а для возвышенной идеалистич-
ческой. Но въ теорiи познанiя т.к. всѣ
теорiи, ставящiя и разрѣшающiя воп-
росъ о сущности полнаго знанiя, единог-
ласно утверждаютъ, что никакого у
насъ знанiя въ настоящее время быть не можетъ.
Только глубина скептицизма и только
недовѣрiе къ знанiю, какое существуетъ
теперь, не испытанное нашей ни одной
эпохой. Прикладныя науки процвѣтаютъ
и развиваются – въ области же философской,
т.е. въ области общихъ принциповъ
не найдется ни одной, обѣдняющейся
всѣми увеличивающейся идеи по привлеченiю

одного изъ авторитетнаго современ-
наго нѣмецкаго философовъ (Липпс?) –
въ области логики сейчасъ происходитъ
вполнѣ отчетливый сдвигъ отъ нея. И тѣмъ
рѣзче оттѣняетъ Корнилова о томъ,
что современная наука представляетъ
собой случайный и беспорядочный подборъ
фактовъ и обобщеній въ области
разныхъ знаній – мысли
нѣтъ ни въ какой изъ нихъ – нисколько не находится въ противорѣчіи
съ ученіями философовъ. Но Толстой,
давшій предисловіе къ первому К-а,
читалъ будто объ обратномъ и радуется тому,
что К. такъ остроумно разбиваетъ
господствующее среди "образованной
толпы" мнѣніе о великихъ достиженіяхъ науки, этотъ же Толстой
самъ настолько вѣритъ въ науку
и именно въ современную науку, что
даетъ ей право безграничнаго конструированія надъ (попытками) жизни.
Умъ, какъ кажется, въ концѣ концовъ
думаетъ, что теологическій и метафизическій періоды мышленія суть
только и настоящій періодъ положительный. А вѣдь, какъ остроумно
и вѣрно онъ самъ осмѣивалъ этотъ
мнимый конечный фазисъ!

хорошаго, въ прямомъ смыслѣ

VIII

ВК стр 138 гл VIII

Вѣра въ естественное развитіе и позитивный періодъ. Вотъ есть смертная
гроза нашей современности – вотъ то
самое, о чемъ говорилъ Люттеръ въ рѣ-
шающемъ вашемъ апрѣлѣ – что стоитъ
и будетъ стоять всегда на пути чело-
вѣческаго счастія. Позволю себѣ обобщить
еще положеніе: не только наше время,
всякое время считало уровень своего бла-
гія очень высокимъ и стремилось

своими знаниями, т.е. своей ограниченностью определить свое отношение к бесконечному. Толстой дал правильную формулировку того, что принято называть религией но то, что он называет религией и есть именно глубочайшее непонятие. Я, конечно, менее всего склонен брать на себя защиту какой бы то ни было религиозной или философской догмы, тем-ли которая разрывает своей критикой Толстого или тем, которые дали, как у Мопасс., его узкий остеклеет взгляд возникают ли непосредственно, первичного опыта, и потому запечатлены свежестью и глубиной видения, впечатления, непосредственного (непосредственный) знания. Монашеская одежда, власяница, длинное и пятно средневековых храмов и поэтических современной шелковой рясы или черного сюртука – но всегда эти красивые и некрасивые наряды – есть все же только внешность и форма и хотя отчасти открывают игрою (жизни) идущееся надо ними живую борьбу, но еще больше закрывают ее. Догма-ли, отвергание от внутренних переживаний удаляет и высушивает точно также как и листья, оторвавшиеся от дерева и потому, конечно, в глазах наших не могут иметь никакой ценности. Но отрицать догма вовсе не значит оставаться равнодушным ко величайшим человеческим борениям и исканиям. Скорее наоборот, только интересуется догмами, кому нет дела, кто равнодушен к человеческ-

нему и божескому творчеству. Ему хочется знать, твердо знать, что где то кем то уже все сделано и что потому можно спокойно сложить руки и мирно грезить. Вот, когда Толстой всем охваченной радостью трепетом (радостью и ужасом) идет в своей таинственной книге и вопреки традиционным и сложившимся "фразам" находит в ней слова, проникающие всей строй нашей внутренней и внешней жизни — мы поражаемся его силой и величием. Мы начинаем думать, что и в самом деле он нам сошел благодать, что он способен почувствовать Бога, со восторг сообщается нам и мы с затаенным дыханием ждем, но, увы — человек, даже величайший человек остается человеком, как и величайшие земной вершины Кавказ и Гималаи (сравнительно с вечными линиями неба) блестят только снежинками на ученических, как нам рисуют в учебниках географий. Надо было вынести вид Бога сосредоточиться с бесконечной — нельзя, не дано смертному. Дали ты волнение, когда разве возможет в наш близость смерти у человека, взять ту высоту, как Толстой прямо в глаза, не может дать силы, нужно для того чтобы на время оторваться от земли. На мгновение человек взлетит на высоту и вот он уже снова на своем прежнем месте и где-либо

как музыкальная фортепьянная фраза Бетховена

твердить увѣрился и изложил сестрова
давно умершую долг, как и
другие противники Толстого, либо
повторяет подсказ восьмой слу || ра-
бумой "давно отпетая вшь и набив-
шая всьмь оскомину" "твердой" правила и "личн
по.

Толстой именно так думает со Евангелием. Он ищет в нем правил жизни. Не противься злому, не клянись, не прелюбодействуй, не пожелай жены ну, которая была однажды твоей жи-ной и т.д. Все дело, по его мнению в том, чтобы извлечь из Евангелий указаний о том, как поступать в жизни, чтобы жизнь стала не кро-мешной адом, как теперь, а свет-лой, осмысленной, радостной раем. Он, читая их Евангелия старается доказать, что Христос именно затем пришел на землю, чтобы научить лю-дей, как хорошо жить." Христос учит К.т.и Ч. 164

Не спасение верой или освящающая те. обильному воображению или самовольным учением в той жизни, но он учит жизни такой, при которой, кроме спа-сения от погибели личной жизни еще и вот-так, в том мире, меньше страданий и больше радости, чем при жизни личной". И еще: "учение Христа имеет и самый простой, ясный, практический смысл для жизни каж-дого отдельного человека. Этот смысл можно выразить так: Христос учит людей не думать спасаться. В том сос-тоит самый простой, всем доступный

смысл учения Христа". Об этих чтениях было много мною в X-й главе И. К. Но в VIII главе также указывается еще на один смысл учения Христа: „в признании этой своей мирской личной жизни дает-ся действительное, мне принадлежащее и имеющее несомненное, преимущественное понимание учения Христа." И. К. 172

„... Смерть, смерть, смерть каждую секунду ждет вас. Жизнь ваша совершается в виду смерти. Если в трудящемся мысль для себя в будущем, то в самом настоящем, что в будущем для вас одна смерть. И эта смерть разрушает все, для чего вы трудились. Стало быть жить для себя не может иметь никакого смысла." Жизнь для себя не может иметь никакого смысла — это устами Толстой в Евангелии. Но, тогда какой же смысл искать радости, хотя бы и не тех радостей, которых ищут обыкновенные люди, а более высоких и чистых? Ведь, что бы тамъ ни говорили, а радость-сеть чего индивидуальное, личное чувство, и, если нужно отрешиться от себя, от своей индивидуальности, то вряд-ли стоит о радостях думать. Но, Толстой радости не уступит, как и не уступит разума, хотя бы было бы, вероятно, по словам, ложью. И, в самом деле, здесь это было-бы по отношению — для Толстого. 129—

Вот вторая критика, как и первая Толстой заговорил о самоотречении, о смерти, об юродстве. Вверх вниз тоже, как и Толстой в своих исповедях получил свой новый истин у Платона Каратаева, воплотившаго в себе лицо страдающей и смиренной народ. Вверх тоже испытал

~~испытаю~~ потребность встречей и
жертвой. Но конечно (компромиссом):
он уступился и дивился русскому народу,
он старался внутренно совершенство-
ваться, он во многом и в самом деле
усовершенствовался, но не оторвался от
сладости жизни и продолжал, по ухва-
тке ума и совету ума, посильно
устраивать свою жизнь. „Ах, как хо-
рошо! Ах, как хрупко (словцо) ..... Досадно
быть, меня упрекнут в ортодоксии -
но я не могу не сказать, (Должен признаться
что эти слова Бер-
я слышу и в религиозно-богословских
произведениях, на писанных Толстым
после второго кризиса. Они (меня тянут сами)
представители современного духовенства
в неверии на этих основаниях, что у них
нет в силе, нужной для веры. И вот в ка-
ких замечательных по глубине поня-
тий словах: „Они (дух.) могут со-
единиться Христу-Богу, причащаться,
делать дела человеколюбия, строить
церкви, образовать других; они все это и
делают, но не могут делать одного
Христа потому что дела эти вы-
текают из веры, основанной на совсем 157 И 44
иной учении, нежели то, которое они
признают. Они не могут принести
в жертву единственного сына, как
это сделал Авраам, между тем
как Авраам не мог даже задумать-ся
над тем, принести или не принести
своего сына в жертву Богу, тому Богу,
который один давал спасение и бла-
гословение. Это-страшный вызов,
брошенный Толстым современным
верующим людям. Кто теперь осме-
лится принять его? Кто принесет
своего первенца в жертву! Вспомни-
те спор Достоевского с законни-

нам ребенок. Когда этот вопрос
где-то вроде как приходит в голову (в какой
форме) Мишеле, он сказал, что ко-
нечно он согласится допустить,
что Бог не совсем великодушен, чтоб
что-то с Его воли и согласия происхо-
дило подобное ужасу. Можем ли
теперь повторить тоже. И прямо надо
сказать: разум наш никогда не
оправдает жертвоприношение Авраама и ни-
когда не согласится дарить нам пер-
венца — хотя бы и по требованию са-
мого Бога. Он отвергнет Бога,
чтоб исполнить такое его требо-
вание. Если же найдется человек,
который в самом деле отдаст
любимое дитя на заклание,
боюсь того — сам зарежет нашу
руку, ибо сомнений уже быть
не может быть: он отверг
разум и уничтожил в порыве
безумия. Такова были все пророки.
Посмотрите на них жизнь, пос-
лушайте их. Ужасного Бога во-
ли есть в человеческой истории
ния — и он послушался. Если бы
современный психиатр увидел
Ужасного
человеческого, исполняющего волю
Бога, он бы не на секунду поду-
мал, что — перед ним пророк и
без колебаний подписал бы на него
смирительную рубашку. Вторая ра-
зумом никогда не примиряться.
Никогда не примириться и с частью
с жертвой Авраама: тот, кто
однажды убил своего сына, может
быть будет великим гением, пра-
родоначальником человечества — но счастливым, разумным
мирной нашей человеческой он уже

говорит вам: таков Бог и
Христос

Толстой сказал бы и говорил и врачи, интересовав-
шиеся душевными состояниями Толстого не поняв
Христова, а во время кризисов — т.е. не тогда, когда
Толстой при помощи разума справлялся с сомне-
ниями, а когда сомнения побеждали разум. И тогда
именно в эти периоды — Надо сказать, в молодости так и в
старости — Толстой особенно напоминает нам
жестокого пророка

не будет никогда. И, наоборот, та непримиримая вражда со счастьем и разумом, которую иные люди отдают всю свою жизнь, имеют большей частью свое начало в великой, исторической жертве. Может быть, нужно, как Лютер говорит, уверовать в то, что для спасения твари одинокой, прерывной, чувственной душонка потребовалось совершить преступление беспримерное, распять Сына Божия, совершеннейшее существо, чтобы могло быть, говорит, нужно уверовать в этот абсурд для того, чтобы раз навсегда ~~порвать~~ оторваться от разума с его законами и преодолеть это чудовищное наше духовной бедности и ограниченности, которое именуется нашими познаниями..."

IX

ВК 144 лл IX

Вот, говорю, в Толстом после второго кризиса, дата и после первого, в Толстом "Исповеди" и "Крейцеровой Сонате" замечается органическая соединение двух по видимому совершенно несоединимых в душе. В одной стороне в нем живет пророк, готовый пользоваться примером Авраама и одна Ужасная, готовый сродниться с безумием и сказать на смертном бою здравой смысл и всю радость жизни. В другой стороне — он мудрец, не держится за разум ~~и~~ жизнь — и учит людей научая тем, что религия как раз то, что нравится и есть высшее посредственности.

После "Исповеди" после того, как

откажется от

таким он был в то время кризиса — до той поры, пока разум, отбросив чувство, должно не спустится в низовую область — "твердую" знать, правило и "счастье"

оич ув торовалъ уоже въ Бога, муки
совѣтоній и невѣрій сще долгоки
полжизни сто. Я не говорю уоже о Л
и Смерти и П. И! Можетъ быть въ томъ
ранняя Толстой изображаетъ
то, что онъ испытывалъ ранѣе, до
своего второго обращенія (по поводу
первого, что тоже для него много
значитъ). Ну, а Крейцерова соната?
~~Что бы настворилъ~~ Фаоке для него
ясно, что она порождена нами то
переживаніями, вопиющими совер-
шенно независимо отъ всякой сюр-
лигіозной борьбы и исканій. Именно
въ то время, когда Толстой радостно
отдавался своей высокой учительской миссіи
учителя — въ жизни его произошло
и почти незамѣтно и постыдное, отъ
ратительное и ужасающее. Словно,
~~кто то~~ Фаоке бы Толстого кто ни-
будь въ это время ударилъ по щекѣ
онъ бы легко, даже съ радостью под-
ставилъ другую. Но тутъ была,
очевидно, тонкая пощечина (говоритъ
быть даже нанесенная самимъ собою,
только неожиданно съ сверхней ду-
ши — на которое былъ вызываемъ
умъ Толстого, на для позднѣйшаго
родилъ отвѣтъ: убій-
ство. Подчеркиваю: умъ Толстого,
вторгающаго въ Евангеліе и непроти-
ленію злу не было другого выхода.
Объ этомъ говоритъ каждая строчка,
каждое слово „Крейцеровой Сонаты",
имѣющій умъ, да слышитъ. Но,
Толстой не убилъ и слегъ оскорбле-
нія, написавъ новое эпіальное ~~крот~~
введеніе. Я хотѣлъ остановиться въ дальн
части разсказа вопросъ, можетъ ли

Трудно даже и въ воображеніи представить
себѣ, какому ужасу медленно пришлось
всплыть въ глазах.

и должно-ли такимъ путемъ слѣдовать оскорбленія. Мнѣ кажется даже, что если существуетъ загробная жизнь, такой вопросъ будетъ поставленъ по поводу многихъ геніальныхъ произведеній, и не одного Крейцер. Сонаты Толстого — нашъ онъ будетъ ръшенъ не берусь сказать. Но сейчасъ мы лишены этого вопроса, который помогалъ въ нему своей всеобъемлемостью и можетъ быть ръшенъ на страницахъ одной книги, ибо въ нашемъ эмпирическомъ мірѣ нѣтъ достаточныхъ данныхъ для его ръшенія. Я не хочу указать только на то, что Толстой знаетъ, что такое жертва Авраама и заноситъ руку надъ тѣмъ, что ему дороже всего въ жизни.

Всякое произведеніе свидѣтельствуетъ о томъ и, когда онъ разсказываетъ о своихъ жертвахъ, мы перестаемъ вѣрить его собственнымъ увѣреніямъ о томъ, что, тѣмъ острѣе и тѣмъ словно жить и чтитъ Христосъ можетъ научить насъ слушать и слышать жить. Я не знаю другого писателя, который бы такъ умѣлъ подрывать вѣру въ разумъ и всемогущество злостворныхъ устроеній на землѣ, какъ Толстой которые Ренана демономъ соблазнительскимъ. И дѣйствительно, они своимъ лживымъ, но искренне чарующимъ слухъ голосомъ, могутъ посѣять въ душу самыя мучительныя сомнѣнія. Вотъ образецъ такого рода разсужденія: „Une comparée obscure, providentielle peut-être, nous cache les fins morales de l'univers. Sur cette matière, on ne peut rien savoir. И больше всего несоотвѣтствіемъ давалось имъ отвѣтовъ на предлагаемые имъ самимъ вопросы. Кто научилъ

Не дорого онъ далъ разъ видѣть смерть, два раза разрушать ядро разъ вѣчь в сотнями міръ

У Толстого спрашивать, кто так воспри-
имчив, как Толстой был в Карлыче,
смерть своего отца, папку Ивана Ильи-
ча обиду повторение Полуянцева – тот ли, мо-
жет быть, будет протестантом или
католиком, политиком или мета-
физиком – но, во всяком случае, каковы бы
ни были учений они Шекспира, все
они даже и приблизительно не сравнятся
со отношения к миру Божию и людям.
И, вот и мне кажется, что может
быть учение Толстого оттого так
ясно, просто и неубедительно, что он
знал бы, бессознательно чувствовал,
что все равно не претворишь в учение
всего того, что накопилось в душе за
долгие годы трудной, сложной и
богатой жизни. Разумно такая зада-
ча не под силу: пусть берется за по-
сильную задачу. Пусть возьму участие,
сорабатывать правила жизни, учить людей.
поможет, облегчает, Ничего, конечно,
из того не выйдет, или выйдет очень
мало – но та часть нашего существа,
в расширении которой находится ра-
дость, очень малого и требует. Вс. Ф. Р.
О" Толстой рассказывает, что Карл
Иванович, узнавши о том, что Протасьев
отказывается ему от места вернулся
в классную и, во время урока, продикто-
вал детям следующую фразу: Von
allen Leidenschaften die grausamste ist
die Undankbarkeit. И это его удовлетворило.
„Лицо его не было угрюмо как прежде;
оно выражало довольство человека фос-
тойно отмстившего за обиду". Часто,
когда я читал по поводу действительно
уместных и волнительных событий
неподходящие Толстому стихи – я вспо-
минал немецкую фразу Карла Ивановича.

Это толстовское исследование, начатое уже указанием в начале статьи, также мало способствует исправлению мнения и фразы Карла Ивановича, что достоинство человека, достойно отмстить за обиду. Разумеется, когда ему выпадает руководящая роль, всегда приводит к таким результатам — и потому что вся задача именно в том, чтобы отнять у него роль навсегда эту роль. Может быть иная задача покажется несущественной, противоречивой по своему существу. Может быть вообще в тайниках души человека живет вечная боязнь того, что наиболее глубокий и священный запрос души не могут быть удовлетворены. Иногда даже кажется, что и не должно быть удовлетворения. Ренан чудесно выразил эту мысль: "Вас сотрёте... Да, именно так. Бывает, человеком овладевает мучительная мысль, что может быть [illegible] святыня, то, что ему дороже всего на свете — самая обычная сумасбродность, и что на престоле ее нужно возвести именно обыкновенную сумасбродность, пожалуй, которая одна и представляет из себя неистребимую временем, вечную сущность жизни. Кто не знал этого мучения, тот жизнь не был еще далек у порога последней загадки. Достоевский пользовался таким человеком желторотым. Потому можно еще надеяться на разум и искать в разуме опоры. Тот может считать наше знание совершенным знанием, тот может в проповеди находить утешение и в неудобоносимом слове испытывать

Послесловие, иногда

чувство удовлетворения отсутствия условия. Тот может и в сознательном, разумном уме толстого видеть существо его деятельности и его жизни. Тому может показаться, что послесловие к Крейцеровой сонате имеет в самом деле какое-нибудь отношение к тому художественному произведению и в восклицании Позднышева „а ведь как хорошо, как славно, и как все соответствующие мостовой божественные и моральные трактаты" Толстого они могут находить отзвук на свои задушевные и тайные мысли и даже признаки внутренней вины. И ему ничего возразить нельзя. Ребенок прав; повседневные дела мира скрыты в глубоком мраке и может быть не случайно а по воле Творца мира подсказали так, если в самом деле у него нет и не может быть никаких указаний как следует нам и чего от нас требует, если (так устроен, что он ровно допускает самое противуположное объяснение мировых явлений, то, кто он может диктовать нам жить в мире с этим разумом?! Добро бы разум был или хотя не всеведущий, то хотя простой могущественный, может быть и справедливый или нашими хотя бы элементарными нужными нуждами. Может быть все дорастет человеческая совесть и материальными благами. Но видно, что наступает момент в нашей жизни, когда разум безсилен помочь и не умеет ничего для нас сделать. И как страшно и как хорошо здесь в этом рассказе Толстого! И тогда ты вынимаешь условный корреспондентский нерв и навсегда порвать

и этими толстыми и коварными словами-
ками. ~~Утка ни той сферы, где~~
Что угодно – только не разумное. И
тогда, только тогда, когда человек
окончательно почувствовал невозмож-
ность жить не разумно возникает
у него вера. Он может быть и не
знает, что у него есть вера. Большин-
ство, они этого не знают – т.е.
они не думают, что со смыслом или
без отношения к миру возникает
такого названия, что оно вообще имеет
какую нибудь ценность, цель нибудь
стоит. Они думают, что вера должна
называть приверженность человека
к какой-нибудь церкви, к каким ни-
будь догмам, ~~ну~~ к этическим учениям по крайней мере
хотя бы интерес к таким названным
последним вопросам нашего бытия,
А то что в нем – все только дикие, грубые, безпорядочные, животные
силы, отвратительные, все подчинено
истребляющей, уничтожающей. Безподобно
в таких своих душевных состояниях
рассказал покойный Человек в своей
„Скучной Истории". Об этом он расска-
зывает и Толстой во всех своих ра-
ботах. И именно все то, что безобразит
нас из нашего обычного равновесия,
что разрывает, разрушительно на безко-
нечно малые части и наши опять, что отни-
мает у нас радости и, сами, правила
убивающий и твердость все это – есть
вера, все то есть мгновенья сопри-
косновения с миром иным, говоря
словами Достоевского. И, пока мы
живем в этом мире, не может
быть и речи о том, чтобы вера была
нашим постоянным душевным сос-
тоянием. Человеку нужна передышка,
нужно ему вздохнуть и сказать, что

по сколько в нем отражаются оба предыдущие
эти его крайности.

жить хорошо, как славно, что слушая
на твердость, правило, почва. И, в
силу того, что с низа памятью вре-
мени человек приучился думать, что
тайна чувственного, — тайна и последнего
нет ничего и вообще, не истребимой
временем благо, только душевных
состояний называются великими сло-
вами вера — они же потому и согла-
суются с нашими знаниями не
которыми разумом, добра общими
усилиями создать благо для буду-
щего, предостовляемого вечно слуша-
телями жизни человечества. Дважды
взглянуть в лицо настоящей смерти
Толстой, дважды бара валась она из
власти предрассудков человечества
и мною вы рассказал нам о том
том новом мире, в который звала
его строгая гостья. И оба раза она
вернулся обратно. Может прав был
Ахиллес: лучше быть подёнщиком
в этом мире, чем царем в мире
теней и прав был Экклезиаст, лучше
быть живой псом, чем мертвым
львом. И Толстой был прав, рекоменду
я не рисковать. Дело в области
философии. Но, повторяю, Толстой
стоил Толстым только взглянув
ши в глаза смерти — и постольку,
по сколько они перестали [верить]
[в] [неизбежный] в нетленное нашею
традиционной с нетления. Его итоговый
конечно, как в полноте описа-
ний приключений духа. Самые
замечательные в этом романе
и [моральной] [символической] его смысл, имя поэт

думать Толстой, и ~~неподобная~~, сюрпризная в своем роде передача ложки словидухой. Во этом нужно видеть великий символ, в этом и нужно искать разгадку толстовского ~~мышления~~. ~~Последний~~ кончается он такими словами: „и тут, как это часто бывает в сне, мне представляется тот механизм, посредством которого я дергаю, очень естественный, понятный и несомненный, несмотря на то, что на яву этот механизм не имеет смысла." Здесь весь Толстой. Он наполовину проб-) „и тот, который написал „Три смерти" и тот, который во второй раз, почти через полвека написал „Еще три смерти"
удился от сна жизни и чувствует, что естественность, понятность и несомненность вовсе не тот, к которому стремятся наши учителя, ~~строящие~~ трудящиеся с гимнами, ~~метафизикой~~ и ~~безбожными~~ Всем убедительность их учений пропадает сразу для того, кто может удержать открыть глаза. Вот что, по-моему, — Бог есть. Но почему-то совершенно ~~что-то~~ ~~что почти было~~ несомненно. . . .

Толстой возвещает нам освобождение ~~свободу~~ от разума, правил, единств, истин...

Вторую статью не попадется на глаза Толстому. Он ее видал теперь в особенности — так много пишут, что он судьба-ли в состоянии прочесть и сотую долю посвященных ему статей. Но, если попадется ему на глаза, он наверное скажет обо мне, как говорил в „Жизни" и „Безумной — не испугавшись ни инсульта, ни тюрьмы и ссылки."

конец стр. 152

Что мне? От этого нужно предостеречь. Я же закончу ~~статью~~ ~~о нем~~ ~~его~~ словами ~~неизвестного~~ ~~Т. Шекспира из которого~~ Шекспира из „Гамлета" ~~переведенного~~ „распалась связь времен" и прибавлю: мой мальчик, я надеюсь, не ударит в грязь лицом, что бы ни случилось на его веку, и не будет разбивать в дребезги ~~мои~~ ~~мальчик~~ ~~я надеюсь~~ ~~не ударит~~ ~~что бы~~ ~~случилось~~ ~~на~~ ~~его~~ ~~веку~~ ~~и~~ ~~не~~ ~~будет~~ ~~разбивать~~ ~~в~~ ~~дребезги~~.

Закончу словами Шекспира из „Гамлета" „распалась связь времен" и прибавлю: мой мальчик, я надеюсь, не ударит в грязь лицом, что бы ни случилось на его веку, и не будет разбивать в дребезги

ВК стр. 153

конец стр. 1

Теперь я золотой науки нашел, что
все лучше, чем то, что было прежде.

Новое мiра

(по поводу 80-летняго юбилея Толстого)

. . .

Исторiя можетъ назвать очень много
именъ замѣчательныхъ мудрецовъ, но
исторiя не можетъ назвать ни одного
человѣка, который бы зналъ истину.
Изъ этого прежде всего слѣдуетъ, что
при разборѣ сочиненiй писателя можно отъ
него требовать чего угодно - только не исти-
ны. Обыкновенно, правда, поступаютъ иначе.
У писателя ищутъ прежде всего исти-
ны и, либо находятъ ее и тогда прослав-
ляютъ писателя въ самыхъ преувеличенныхъ
выраженiяхъ, либо не находятъ ее, на этомъ
основанiи, низводятъ его. Очевидно для всякаго,
кто хоть сколько нибудь интересовался ис-
торiей мысли, что въ обоихъ случаяхъ мы
имѣемъ дѣло либо съ наивностью и невѣ-
жествомъ, либо съ недобросовѣстностью.
Какъ можно ждать отъ человѣка того,
чего не могъ дать ни одинъ
смертный? Правда, современная исторiя
философiи пытается представить великое
дѣло отысканiя истины въ такомъ видѣ,
какъ будто бы мы постепенно, въ теченiи
вѣковъ, все ближе и ближе подходимъ къ пос-
тавленной всѣмъ человѣчествомъ завѣтной
цѣли. Будто бы каждое послѣдующее
поколѣнiе, принимая сокровища знанiя,
оставленныя ему предыдущимъ поколѣнiемъ,
въ свою очередь и отъ себя кой что прибав-
ляетъ и, обогащенное новыми знанiями,
передаетъ своимъ преемникамъ болѣе
усовершенствованную мудрость. Но, такой

взгляд на историю может являться
лишь приложением общей теории прог-
ресса к отдельному случаю духовной
деятельности человека и никак их дру-
гих доказательств в свою пользу при-
вести не может. Поэтому для тех, кто
не убежден в правильности общего
положения и вообще едва ли покажется
убедительным. Успехи и удачи положи-
тельных знаний отнюдь не знаменуют
собою приближения к последней исти-
не. Вполне возможно даже обратное:
чем больше у нас положительных
знаний - тем дальше мы от истины.
Лучшим доказательством тому яв-
ляются все современные теории позна-
ния, ~~Посмотрите на ка~~ какой бы
школы они не держались. Прогрессивно
недавно по Европе прагматизм, новей-
шее течение марбургской школы или Винде-
бандово-Риккертовской школы, так на-
зываемый Мах и т.д. в один голос все
утверждают, что наши знания - сами
по себе, а действительность сама по се-
бе. Представители разных школ спо-
рят между собою о том, что застав-
ляет нас конструировать наши науч-
ные системы. Прагматисты, в пору уте-
литарных преданий, говорят, что кроме
соображений полезности, никаких других
у нас не может быть, идеалисты, нао-
борот, презирая пользу, говорят о безус-
ловном долге. Но все без исключения схо-
дятся в том, что знания наши есть
только суррогат истины, ибо, по само-
му существу своему, они обусловливаются
более или менее случайными, по боль-

Конец службам человеческими воздухами.

Все в один голос утверждают
что в наше [illegible] время
сведения [illegible] в реальности по
всем [illegible] воскресенье нет
от [illegible] в [illegible]. Кто-то [illegible]
сам, лично, так называемой [illegible]
[illegible] стал [illegible]
[illegible] роль в [illegible]
[illegible], которое [illegible]
[illegible] [illegible]